

Вячеслав ДЕГТЕВ

**ТЕСНЫЕ
ВРАТА**





Вячеслав Иванович ДЕГТЕВ родился в 1959 году на хуторе Новая Жизнь Репьевского района Воронежской области. Бывший военный летчик. Студент-заочник Литературного института имени Горького. Участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей. Публиковался в журналах «Подъем», «Дружба», альманахах, коллективных сборниках в Кишиневе, Чебоксарах, Воронеже, Москве. Живет в Воронеже.

«Тесные врата» — первая книга молодого автора.

По-разному можно познавать мир. Можно умом, а можно душой, сердцем. Вячеслав Дегтев, как мне кажется, относится ко второму типу писателей. Он прежде всего художник. Часто непосредственный и по-хорошему наивный. Он душой познает человеческую душу, познает иногда созерцательно, через детское или юношеское восприятие. Но это хорошая созерцательность. Сквозь нее видно дегтевское отношение к миру. Оно очень хрупкое, легкоранимое и, как у всякого русского художника, наполнено глубоким состраданием к человеку.

Творческая судьба Вячеслава Дегтева, наверное, будет складываться не очень просто. К несчастью, сейчас в моде рассказы и повести, в которых поднимаются сиюминутные, продиктованные неустойчивым нашим временем вопросы. Жизнь же человеческой души пребывает как бы в тени. Но все это пройдет, как не раз уже проходило. Все шумное, поверхностное обретет свое место в лучшем случае в истории литературы; в самой же литературе, в ее живой жизни останется то, что подлинно художественно.

Останутся, я думаю, и лучшие рассказы молодого, пока еще только начинающего писателя Вячеслава Дегтева.

Иван ЕВСЕЕНКО



Вячеслав
Дёгтев

Тесные врата

Рассказы

Москва
«Молодая гвардия»
1990

Художник Лариса БАСОВА

Дёгтев В.

Д-26 Тесные врата: Рассказы / Вячеслав Дёгтев; Худож. Л. Басова.— М.: Мол. гвардия, 1990.—92 [4] с., ил.— (Б-ка журн. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»; № 35 (450)).

ISBN 5-235-01648-3

ISSN 0131—2251

Тема рассказов молодого прозаика не исчерпывается его профессиональным прошлым — авиацией. Глубокое понимание движений человеческой души отличает его лирические рассказы.

ББК 84Р7

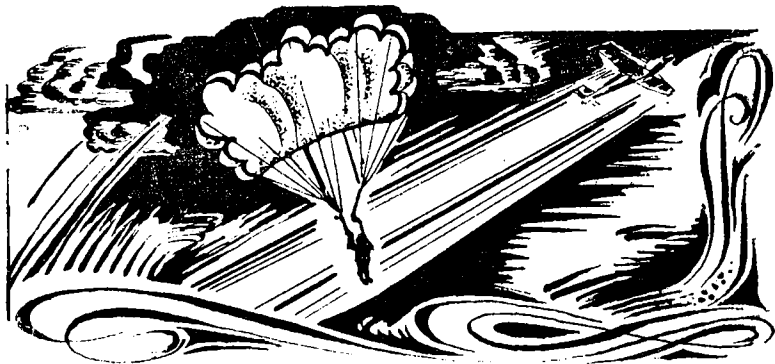
Адрес редакции: 125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а

© Издательско-полиграфическое объединение «Молодая гвардия»
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1990 г.
№ 35 (450).

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.

ISBN 5-235-01648-3

ISSN 0131—2251



ШАГ В БЕЗДНУ

*Нужно сделать шаг,
Только шаг,
Чтоб тебя называли мужчиной...*

Из песни

1

Первого августа, в солнечный и жаркий день, Вадика с Игорем, двоих со всей Стрелицы, рабочего поселка, прилепившегося к заводу огнеупоров, вызвали в райцентр, в военкомат. Они ехали и недоумевали: зачем вызывают, ведь до призыва еще три месяца — и почему только их?

В военкомате их без объяснения причин послали проходить медкомиссию, а после нее, уже к вечеру, направили к начальнику второго отделения, ведавшего призывниками.

В прохладном кабинете с зарешеченными подслеповатыми окнами находились трое: двое усачей и девушка. Девушка сидела на одном конце большого дубового стола за громадной и громоздкой, допотопного образца пишущей машинкой — «последней из

могикан»; напротив — седой прапорщик с веревочными сивыми усами и носом, похожим на печеную облупленную луковку. На обширном пространстве стола — между машинисткой и прапорщиком — высились серые груды каких-то «дел». «Где-то в этой грудке лежит и он», — подумалось Вадику... За столом поменьше, отдельно, восседал молодой капитан с неестественными — длинными и тонкими — «тараканьими» усами и черными петлицами, на которых «танки» залихватски задирали стволы; капитан копался отверткой в электронных часах, похоже, японских.

Когда ребята вошли, девушка на секунду оторвалась от работы, стрельнула по ним глазами — справа налево и сверху вниз — и разразилась на своей «могиканке» длинной, убыстряющейся с каждым мгновением, будто разматывающейся очередью; капитан отложил отвертку в сторону и, вздохнув от трудов, вытер пот; прапорщик не обратил внимания — он, нахмурившись, сосредоточенно смотрел в папку, добросовестно вникал.

— Вот... пришли. Вызывали? — сказал Вадик.

Машинистка оборвала очередь на самом пике, капитан вскочил — усы у него зашевелились, — выскочил из-за стола, остановился резко; в глазах его плясали рыжие чертики.

— Эт-та что такое, ядрена вошь?! — оглушительно рявкнул он. — Вы куда пришли? А ну марш за дверь и войти как положено.

Вадик перехватил взгляд девчонки — изучающе-любопытный, и ему стало стыдно перед ней; но девчонка улыбнулась без насмешки, как-то по-домашнему, просто и мило, и Вадик понял, что она уже вдоволь насмотрелась таких комедий.

— И давай по одному... Учитесь, ядрена вошь!

Друзья вышли в темный, пахнущий гниющими полами коридор. Вадик постучал первым.

— Да! — рявкнул капитан, и проходивший по коридору старичок ветеран шарахнулся в сторону.

Распахнув дверь и переступив высокий — старинный, как сам дом, — порог, Вадик выпалил:

— Товарищ капитан, призывник Ковалев по вашему приказанию явился.

— Является только черт да знамение божье. Ясно, ядрена вошь? А призывник — прибывает!

— Так точно — прибывает! — гаркнул Вадик, стараясь, чтоб вышло не хуже (то есть не менее громко), чем у капитана.

Девушка зажала уши и прыснула, прапорщик впервые оторвался от «дела» и добросовестно-неодобрительно смерил Вадика совершенно сонными глазами.

— О-о, голосочек у тебя прямо фельдфебельский! — с уважением произнес капитан. — Быть тебе сержантом, помани мое слово. За один голос...

— Рад стараться, ваше...

— Ну-ну-ну!.. — капитан стушевался и даже покраснел. — Хватит... хватит паясничать. Разошелся, понимаешь... — и строго посмотрел на девушку.

— Следующий — заходи! — тоном повыше, а тембром потише сказал капитан.

Когда Игорь вошел и, доложив «как положено», стал рядом с Вадиком, капитан буднично, наверное, остыв или наигравшись, спросил:

— Где служить хотите?

Вадика вопрос ошарашил: неужто на выбор предлагают?

— В Москве или в Ленинграде можно? Или, на худой конец, в Киеве, — не веря, произнес он, однако, дрогнувшим голосом.

— В каком роде войск? — я хотел сказать, — поправился капитан.

— А-а... — разочарованно протянул Вадик, мгновенно невзлюбив капитана за его глупые шутки. — Куда пошлете... Наше дело — телячье.

— В ВДВ не желаете?

— Это в десантных, что ли? — вставил слово Игорь.

— Да. Голубой берет получишь... Настоящим мужчиной станешь... — ухватил капитан Игоря за плечо. — Голубая тельняшка... Для этого сейчас три прыжка надо сделать. Всего три... На работе оплачивается... — перебегал капитан глазами с одного

на другого.— Ну, пойдете? Выручайте, ребята! Это же так интересно...

Вадик взглянул на Игоря. Встретил прозрачный взгляд и понял, что Игорь ждет его решения: только вместе — или да, или нет. А в голове было до звона пусто и, как назло, не приходило на ум никаких отговорок.

— Ну! Мужики, ядрена вошь!.. Как?

Девчонка насмешливо посмотрела на Вадика, и он будто наяву услышал ее подсказку: «Скажи: высоты боюсь».

— Что ж,— выдавил Вадик,— если скажу: высоты боюсь,— все равно не поверите. Можно попробовать.

— И я тоже... согласен,— поспешно добавил Игорь.

Девчонка понимающе, снисходительно улыбнулась.

2

Их поселили близ аэродрома местного аэроклуба, в чухлом лесочке, в нештукатуренном бараке, который почему-то назывался казармой. Выдали форму: старые застиранные, потерявшие первоначальный — синий — цвет летные комбинезоны, похожие оттого на обычную спецуху; выдали кирзовые сапоги совсем гражданского вида — с обтерханными травой носами — и засаленные потертые шлемофоны. Было по-летнему душно и жарко, но все ходили в шлемофонах.

«Видела бы Оля»,— думал Вадик, рассматривая себя в зеркале, не узнавая и любуясь. Но потом вдруг поймал себя на том, что мысли уж слишком детские, и ему стало стыдно за них; обернулся, думал, может, кто-нибудь ухмыляется, стоя в стороне. Но никого не было поблизости, никто его не замечал — все любовались собой, то и дело чистили сапоги, пытались навести на них глянец (и наводили), фотографировались в самых непринужденных позах или с самым свирепым видом отъявленных головорезов, без конца травили солдатские brave анекдоты, сквозь зубы, как настоящие супермены, сплевывая, или горланили отчаянные песни, фантастически фальшивя,— хмельной, в го-

лову бьющий дух молодечества и солдафонщины покори́л ребят.

Занятия начались после обеда. Пришел инструктор, поджарый, длинноногий парень, похожий на киноактера Олега Даля, построил «контингент», как он выразился, и, рассказывая перед строем взад-вперед (он ходил по самой кромке тени, что падала от двух раскидистых груш с вяжущими рот незрелыми, «дубовыми» плодами; ребята стояли в тени, а он был весь на солнце, ходил взад-вперед, и даже не вспотел — настоящий десантник!), — рассказывая взад-вперед, вкратце рассказал своим холодным, каким-то официально-отжатым тоном, что такое ВДВ, для чего они, эти войска, созданы, какие задачи выполняют и какие сознательные в них служат воины; сказал, как будут проходить занятия, где и по сколько часов. Вадик смотрел на ходящего инструктора — и ничего не понимал из того, что он говорил: жара давила виски, казалось, вот-вот упадешь, хотелось хоть какого-нибудь движения... Инструктор остановился, посмотрел на часы (обыкновенная «Слава» — отметил Вадик), усмехнулся и с нехорошей какой-то, желчной иронией добавил в заключение уже неофициальным тоном:

— Что ж... посмотрим, кто из вас на что горазд.

— А тех, кто не «горазд» — куда?

— В стройбат, — не моргнув, парировал инструктор и презрительно, как старый пес на щенка, посмотрел на Леху, высокого, нескладного парня с нагловатыми — навывкате — глазами какого-то неопределенного сине-серовато-зелено-пестрого цвета и со странной, будто специально придуманной фамилией — Гарик.

— В стройбат пойдут. На «Ла-пятах» летать, — повторил инструктор, собираясь уходить.

— А как посмотрел! Прямо прожег. Супермен! — бормотал Леха вслед.

— Чего ему — стройбат?.. — проворчал костлявый, стриженный наголо парень, Пашка Корнев, которого уже звали Корнем. — У меня три брата в стройбате служили... Что такого?

Вадик тоже не понравился этот инструктор, хоть поначалу и расположил к себе — тем, что похож был на любимого актера,

тем, что мог час ходить на солнцепеке и даже не вспотеть, тем, что, наконец, был он настоящий спортсмен-парашютист,— но первые слова о стройбате царапнули Вадика за живое, а когда было упомянуто о «Ла-пятих», Вадик и вовсе его возненавидел. Ишь, белоручка! Чистоплюй!

И счастью, оказалось, что этому хлыщу поручили прочитать лишь «Вводное». Это сообщил подошедший после него приземистый увалень с мясистым рыхлым лицом, косолапый, в безбожно стоптанных наружу кроссовках, который и оказался их настоящим «отцом-командиром». Звали его Палыванч.

Палыванч рассадил ребят по скамейкам, что стояли прислоненными к ребристым дебелым стволам груш, отомкнул склад и из вязкой пахучей холодной темноты вытащил за капроновые лямки плотный, набитый парашют, похожий на раскормленного поросенка, от которого сразу же потянуло тем загадочно-тревожным запахом, что царит (или так или иначе присутствует) в каждом самолете. Позже Вадик узнает, что это пахнет специальный состав, которым пропитываются парашюты, а в самолетах — все ткани, чтоб отпугивать мышей; узнает еще, что мыши в авиации — враг страшнее диверсанта... Палыванч вызвал одного из ребят, надел на него парашют — парень согнулся под непривычной двадцатидвухкилограммовой тяжестью и стал похож на верблюда,— а Палыванч, отступив от него на шаг, стал объяснять «порядок работы частей и механизмов парашюта при раскрытии». Сперва он назвал основные части: сумка, ранец, подвесная система, распускной механизм. Потом потянул за вытяжной фал (отделение парашютиста от самолета); фал, размотавшись, выдернул из парашютного ранца чеки, и ранец раскрылся-раздернулся толстыми, в палец, резинками (Палыванч объяснил, как и что называется, и что происходит это после того, как парашют отошел от самолета более чем на четыре метра — на длину фала); потом содрал полосатый чехольчик со стабилизирующего парашюта (это означало полный отход от самолета); ухватив за стабилизирующий парашютик, очень похожий на люстру (парашютист выдернул кольцо), стащил еще один чехол — огромный, четырехметровой длины, желто-синий, полосатый,— с осно-

вного купола, который оказался невзрачного, грязно-белого цвета. Все это было похоже на препарацию громадной дохлой медузы.

— Вот в такой последовательности происходит раскрытие парашюта в воздухе,— сказал Палыванч, вытирая лоб грязной рыжеволосой и густо конопатой рукой.— Только происходит все это за четыре секунды. Ну, или за пять...

Вадику сделалось дурно. Заныло в животе, и тоска сжала сердце. Он вдруг ясно увидел себя, падающего из самолета, вниз головой, с раскинутыми руками и ногами, похожего на лягушонка, а за спиной в только что показанной последовательности разматываются эти разноцветно-полосатые тряпки... Посмотрел на ребят. Лица у всех стали каменные, желтые, скулы обрезались, в глазах — у кого болезненное любопытство, у кого — застывшее удивление, у кого — откровенный ужас. Им тоже страшно, понял Вадик, но они ведь прыгать будут; не может быть, чтоб все до одного отказались. Отказ — как здесь говорят — явление редкое, почти ЧП. Значит, все они (или почти все) переступят свой страх. А раз так, выходит, страх — это естественно?! Просто нужно взять себя в руки и приказать... Да, легко сказать...

Вадик вспомнил тот поворотный момент в военкомате. Ведь откажись он тогда и не было бы сейчас этой сосущей беспросветной тоски обреченного (такое же тошнотворное ощущение, наверное, у приговоренного к смерти). Ну, подумала бы та машинистка о нем с презрением, что он трус, баба или что-нибудь в этом роде (а может быть, и не подумала бы? Нет, подумала...) и через час забыла, может, даже раньше — мало ли через военкомат людей проходит. А если бы не забыла? Ну и подумайшь...

Рядом сидел Игорь. Он постриг свои рыжие, похожие на овечью (крашеную) шерсть патлы, и оттого голова его — при широких скулах — стала похожа на грушу, этакую огромную румяную дюшесину. Первое время после стрижки Вадик не мог смотреть на него без смеха. Сейчас же, вспомнив, над чем тогда смеялся, он даже несколько удивился себе... Игорь повернулся, и в его глазах Вадик увидел те же вопросы, что беспокоили и его

самого. В следующее мгновение Игорь облегченно вздохнул, глаза его из оловянно-белых, остановившихся вновь сделались живыми, осмысленными — он тоже, верно, понял, что не одному ему страшно, и у него тоже, похоже, отлегло от сердца.

Палыванч собрал парашют в сумку, взглянул на ребят, ощерив щербатый рот, вокруг которого кустилась плохо выбритая рыже-ржавая щетина, подмигнул.

— Ну, чего притихли? Страшно? Так всем страшно, мальчи-ки. И мне. Честное слово, даже удивительно, чего держусь за такую работу?.. А может, потому и держусь...— добавил в задумчивости. И улыбнулся. И то ли от улыбки, открытой, простецкой, то ли от этих слов, но только легко сделалось, и над головами ребят зашелестел невесомый гомон. А Леха Гарик спросил притворно-наивно, с видом ребенка-баловня, которому все дозволено:

— Палыванч, а если две стропы лопнут — это не опасно?

— Нет.

— А если пять?

— Пять?.. Ну, если не подряд — ничего...

— А если десять перерезать? И тоже — не подряд?..

— Что?! — Палыванч распрямился и недоуменно уставился на Леху. — Что ты сказал? Перерезать?! — проговорил он резко, даже немного косноязычно. — Я те перережу! Выкинь из головы такие мысли. Что тебе тут — бирюльки?!

Ребята смеялись. А Палыванч растерянно хлопал глазами, не понимая, видно, — чего они ржут?..

3

Спортивный лагерь, где собрали призывников, находился метрах в ста от аэродрома — большого поля, огороженного полосатыми столбами с ржавой колючей проволокой; изгородь во многих местах завалилась — то ли постаралось время, то ли местные коровы. Кроме казармы, столовой, трех складов вечного казенного образца, были в лагере еще две армейские палат-

ки, что стояли, раскорячившись, чуть на отшибе. В палатках жили спортсмены, оттуда слышался девичий смех и музыка. Над всеми этими постройками и жилищами распростирали свои длинные суковатые заскорузлые руки десятка полтора дуплистых дубов, росли корявые груши, яблони, дикий чернослив и вишня; худыми, костлявыми по-юношески мальчиками стояли трепетные тополя. Вне поселка, то есть вне тени, возвышался дощатый ангар, вокруг которого валялись всевозможные изношенные детали спортивных самолетов: куски крыльев, колеса, цилиндры и крашенные желтой краской, причудливо выгнутые топливные баки; жарились подсобные машины, выстроенные в ряд: «скорая помощь», четыре заправщика, тягачи, скрепера, «пожарка» с помпатым боком; еще дальше, уже на аэродроме, за изгородью, стояли две выгоревшие, облупленные «аннушки» с линиями номерами на бортах.

Вечер опускался розовый. Холмы алели на заходящем солнце, причудливые тени лежали по ним, с каждой минутой все более удлиняющиеся, расползающиеся, цветом цинковых белил. И когда солнце скрылось совсем, и только тоненькая корочка еще теплилась, а тени, слившись, заполнили весь мир, «аннушки» со своими четырехлопастными пропеллерами — на фоне ясно-алой полосы — стали похожи на ветряные мельницы. И почудился какой-то шум, какие-то звуки — то ли сквозняк хлопал чехлами на самолетах, то ли гремел доспехами, готовясь к сражению, прекраснодушный идалго со своим верным оруженосцем...

Вадик сидел в полутемной курилке под пыльными колючими акациями. Кроме него, были еще ребята, человека два-три, они молча курили, кто-нибудь вставал, вздыхал и уходил, а другой кто-нибудь приходил, садился, закуривал. Разговор не клеился...

Уже когда совсем отгорела заря, и от нее осталась лишь шоколадная полоса, еле видимая сквозь деревья, и тьма сгустилась до почти осязаемой на ощупь, лохматой субстанции, и вот-вот уже должны были прокричать «Отбой!», в курилку зашел Леха Гарик. Он был в шортах и заграничной майке, с гитарой, на которой искаженно и ломано отражались желтые фонари.

— Ну чё? Не слышу оживления. Как на похоронах...

— Спой, если весело,— отозвался кто-то из полумрака,— или спляши.

— А чё, и спою. А может, и спляшу. Вот только инструмент настрою.

Поставив мосластую ногу на скамейку, Леха побренькал, то подтягивая струны, то отпуская, скорее всего просто томя слушателей,— и вдруг ударил по струнам и неожиданно высоким фальцетом запел, немного гнусавя, подражая не то Боярскому, не то Макаревичу...

Из ближней, зелено освещенной палатки вышли две девушки, обе в джинсах и одинаковых майках, обе беленькие и стриженные под мальчиков. Они приблизились к курилке и остановились под фонарем, и Вадик нашел отличие — и какое: одна была курносенькая, а другая — настоящий чайник! Нос у нее был большой, вислый, с горбинкой. Леха, через плечо косясь на девчат, внезапно умолк и, озорно поглядывая на курносенькую, выдал:

Я в весеннем лесу
Пил березовый сок.
И с курносой прыгуньей
Я в стогу ночевал...

Курносая фыркнула, сморщила обиженно капризное личико и резко повернулась. Быстрым шагом, нервно помахивая рукой, ушла в темноту. Ушла за ней следом и другая, часто оглядываясь, с явным сожалением. Бедняжка, ей, наверное, так хотелось остаться, она, верно, и досадовала на подругу (чего обиделась — парень пошутил!), но и солидарна была с ней (чего позволяет себе, черт голенастый!). А Леха, глядя вслед девушкам, протянул глупое, давно набившее Вадика оскомину:

— У-у, ты какая!.. — и добавил в какой-то растерянности: — Знаем таких... я в кабаке работаю. Официантом. А чё? Клевая работешка...

Хотя Леха и хорохорился, стараясь выглядеть этаким бывалым парнем, всего хлебнувшим и через все прошедшим — и это, надо признать, неплохо у него выходило,— но и в голосе, и в

жестах, и в преувеличенной возбужденности чувствовалась какая-то мальчишеская демонстративность.

— Между прочим, в кабачок как зря и кого зря не возьмут. А я — как видите... К нам такие цацы заходят — почище этой. А смотришь, примет девочка дозу — и куда чего девалось... «Ах, зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать...» — запел он.

Пел он надрывно, через силу, — но все равно хорошо, — демонстрируя беззаботность и даже удаль. А Вадику было его жаль... Перестал Леха неожиданно, и никто, кроме Вадика, не догадался почему: просто Леха, случайно встретив взгляд Вадика и все прочтя в нем о себе, неожиданно стушевался.

— Хватит, — хриловато проговорил он, глядя под ноги, пряча от Вадика глаза, — сейчас отбой будет.

И побито ушел.

«Не прыгнет», — подумал почему-то Вадик.

4

Первые три дня занимались изучением и тренировочной укладкой парашюта. Укладывали по этапам: укладка кромки, потом одевание на купол чехла, набор строп в соты... Палыванч после каждого этапа проходил, проверял, и к следующему этапу приступали лишь тогда, когда все у всех бывало выполнено правильно. После укладки распускали парашюты и начинали по новой... И так целый день.

На третий день, после обеда, стали укладывать парашюты уже всерьез, для прыжков, с заполнением документации (на каждый парашют оказался отдельный паспорт). Уже к вечеру, когда уложили по два парашюта и оставалось еще по одному, к казарме подкатила крытая зеленым брезентом машина, и из нее высыпала новая партия призывников. Им отомкнули дверь с другого торца казармы — там, за перегородкой, оказалось довольно большое помещение. Побросав вещи, новобранцы в полном составе явились на укладочную площадку, столпились у черты из мела,

которую Палыванч категорически запретил переступать, глазели, открыв рты и расширив глаза, как на диво...

Вадик поймал себя на том, что его укладочный стол лежит слишком далеко от той черты, за которой, напирая друг на друга, столпились новобранцы. Да и вокруг как-то неестественно все оживилось: громче стали разговаривать, деланно, через силу порой, хохотать, к месту и не к месту употреблять термины, как заправские парашютисты, для которых все это — и прыжки, и парашюты, — все это давно привычное и давно надоевшее...

— Слышь, дай-ка мою запаску... — небрежно говорит один.

— Фартук одерни — стропы из сот торчат... — показывает другой, посматривая искоса в сторону новобранцев.

— Кто взял мой пенал? Кто взял? — заорал и Вадик.

Он понимал, как это выглядит со стороны, но разрешил себе — чуть-чуть; он разрешил себе, тем более что пенал для укладки строп в самом деле пропал.

— Чего кричишь? — осадил его Палыванч. — Вон он лежит, под чехлом, твой пенал.

Вадик перехватил его взгляд, немного презрительный и в то же время понимающий, и этот взгляд его отрезвил.

— Да я ничего... Не заметил...

— Работай... — хлопнул Палыванч Вадика по плечу и отечески, добро улыбнулся: дескать, с кем не бывает.

5

На следующий день «молодые» прослушали с утра «Вводное» в исполнении того же хлыща, похожего на киноактера, и после обеда стали заниматься изучением устройства парашюта и тренировочной укладкой, а они — «старики» — приступили к новой и последней теме: «Особые случаи».

Весь день — особые случаи...

Зависания, перехлесты, обрывы строп и подвесных систем, спуск на двух куполах (когда нечаянно раскрывается запасной парашют), приводнения, приземления на крыши, на провода, на

лес, на овраги... Чего только не наслушались! На перекурах тягостно молчали — слышно было, как жужжали осы, не поделая никак валявшийся под скамейкой леденец,— воротили друг от друга глаза, сплевывали под ноги, в мелкую как цемент белесую пыль, перемешанную с окурками и горелыми спичками; кто-то попытался травануть анекдот — не поддержали, не расшатались (анекдот, правда, был «бородатый»).

— Ну, чего нос повесил? — деланно шутливо толкнул Вадик Игоря в бок.

— Чего? Я — ничего. А ты?

— Да я тоже — ничего...

— Поговорили...— криво улыбнулся Игорь, стреляя окурком в урну.

Глядя под ноги, осунувшийся, ставший будто меньше ростом, Леха Гарик заговорил вдруг тихим, раздумчивым, для него непривычным, голосом:

— Как-то не задумывался эти дни... Прыгать так прыгать — прыгают же люди... А сегодня как наслушался...— Леха погладил себя по груди, по шее.— Тоска...

Какое-то ожесточение появилось у Вадика к Лехе после его слов и даже, может, злорадство,— не я один боюсь, другим, похоже, еще страшнее. И от этого появилось сознание своей силы: я хоть, по крайней мере, не ною.

— Тоска — так откажись,— сказал он жестко, сам себе удивляясь,— чего нам душу травить?..

Леха недоуменно посмотрел на Вадика выпуклыми влажными глазами, ставшими темно-ореховыми, поспешно опустил их, буркнул:

— Сам-то уверен, что прыгнешь?

— Уверен! — сказал Вадик (видно, бес какой-то в него вселился) и тут же себя одернул: не надо бы давать таких обещаний — мало ли что, но бес за него повторил: — Прыгну!

— Посмотрим...

Перекур кончился. Палыванч звал заниматься. Когда поднимались с лавок, кто-то бросил — то ли шутливо, то ли всерьез:

— Ну, пойдем дальше слушать страшные истории...

После обеда отрабатывали действия в особых случаях, учились резать стропы, выбрасывать запасной парашют при частичном отказе основного... Да, это были не бирюльки, это была серьезная мужская работа.

— Чего-то Гарика не слышно,— с презрительной жалостной улыбкой сказал Палыванч.

— Да что-то раздумался я,— отозвался Леха.— Фантазия, знаете, нашла...

— А ты ее, фантазию, в кулак. Да зажми. Ты же мужик. И вы все — тоже... Сейчас самый ответственный период. Крепитесь...

Вадик покори́л себя за то, что обидел Леху.

6

Этим вечером Леха не пел и не играл на гитаре, никто не дурачился и не травил. В казарме впервые за четверо суток было тихо. Спать легли рано, еще до отбоя, но уснуть никто не мог. Лежали, смотрели в потолок или ворочались, давя в себе вздохи... Назавтра, после обеда, назначены были прыжки.

Утром повели на медосмотр. Утро было обычное, тихое и жаркое, и не верилось, что сегодня может произойти что-то необычное. И неожиданно пришла Вадику мысль, что для них этот день — поворотный, для всех остальных он ничем не примечательный. И от того, прыгнет он или нет, в мире ровным счетом ничего не изменится; изменится лишь в нем самом...

Доктор сказал Лехе сожалеюще:

— Что-то пульс у вас частит, молодой человек. Да и давление неважное...

— Да? — оживленно, с плохо скрытой надеждой произнес Леха и напрягся, ожидая решения.

— Ничего, на старте проверим еще раз, может, нормализуется.

Леха с трудом скрыл разочарование.

Когда выходили из медчасти, кто-то пробурчал:

— Пижон этот Гарик. А поначалу такой делапут был...

Леха слышал эту реплику и не сказал ни слова в ответ, даже не повернулся. А Вадик опять упрекнул себя за преждевременные обещания — «Прыгну! Прыгну!» — а вдруг да нет?! Что тогда?..

После завтрака прыгали с тренажера — двухметрового дощатого сооружения, похожего одновременно и на ящик, и на крыльцо; потом Палыванч распустил их — «Отдыхайте», — а сам куда-то исчез. Ребята разбрелись кто куда, слонялись, курили, молчали. Несколько человек, собравшись в курилке, невесело, как-то полусонно, переговаривались, нервно смеясь... Перед обедом приехали на грузовике спортсмены, стали грузить из склада свои парашюты.

Вадик томился. И так хотелось поскорее избавиться от этого липкого, сковывающего чувства; было состояние, как перед экзаменами, — хотелось поскорее предстать перед экзаменатором, а там будь что будет.

Но события шли своим чередом, без спешки. Ребят сводили на обед — аппетита не было ни у кого, — потом заставили грузить парашюты, привели на аэродром, опять стали повторять особые случаи. (Черт бы их побрал, эти особые случаи!) Еще раз смирли давление и пульс. Допустили всех, и Леху тоже. Разбили на три взлета. Вадик попал в первый взлет. «Хорошо, хоть в этом повезло. Не ждать». Ждать уже не было сил...

Дальше события стали развиваться быстро — и как во сне.

Их взлет построили по весу: первым — Корень, за ним — Игорь, потом Вадик, Леха и еще двое парней...

Надели парашюты... (Пряжка на левой ноге не застегивалась... Не застегивалась долго пряжка...)

По одному стали проходить стартовый осмотр: пятеро спортсменов по очереди копались в ранце...

Последним копался Палыванч и говорил что-то...

Повели к самолету...

Резко и сильно пахло чебрецом...

Рассадили по весу... (Лавки жесткие, в салоне пахнет утром, очень прохладно почему-то.)

Палыванч три раза показал по два пальца. Это означало: выпрыгивать тремя двойками... Ничего не слышно, что он говорит, — ревет двигатель...

Вадик оказался первым во второй двойке, каким-то инстинктом почувствовал: первому хуже...

Самолет взревел еще сильнее и покатился, подпрыгивая на кочках...

Заложило уши, потом что-то в них булькнуло, отпустило, опять заложило, земля полетела вниз — взлетели...

И когда взлетели, будто прояснило, словно потное стекло протерли сухой чистой фланелью — Вадик проснулся. Проснулся и удивился: как он попал сюда? Все показалось каким-то другим, резким и выпуклым. Он увидел себя сидящим в тесном салоне, пропахшем самолетным специфическим запахом, смешанным с тонким ароматом прохладного утра; из иллюминаторов на дюралевый рифленый, вибрирующий пол падали круглые желтые столбы света, в которых толкались золотистые пылинки; и пол, и борт, к которому прислонялся Вадик, вибрировали мелко и звонко, и за тонким непрочным металлом чувствовалась пустота, бездна. И не верилось, что летят они, то есть набирают высоту, затем, чтобы прыгать в эту бездонную пустоту. Нет, разумом Вадик понимал все — само существо не верило, ибо это противостоит естественно самому человеческому естеству. И он не верил, не верил, не верил в то, что придется прыгать; это казалось настолько бесчеловечным — выбрасывать человека с такой высоты, что нельзя было, невозможно было в это верить. Вот не верил он — и все!

А самолет набирал высоту медленно, как-то буднично... Прямо перед Вадиком сидели Корень с Игорем. У обоих дубленые серые лица. Рядом с Вадиком, откинувшись к иллюминатору и закрыв глаза, бледный как мел, с синими губами, сжался Леха. В хвосте, у грузового отсека, сидел на парашюте Палыванч. Он о чем-то довольно оживленно разговаривал с курносой спортсменкой (как она тут оказалась — Вадик не заметил). Толкнул Леху

локтем. Тот с трудом разлепил веки — глаза его оказались теперь лиловыми, как у новорожденного теленка. Вадик выразительно кивнул в сторону курносенькой спортсменки: дескать, смотри, твоя знакомая. Леха, похоже, не понял, что хотел от него Вадик, — он длинно посмотрел туда, куда ему указывали, в глазах не отразилось ровным счетом ничего, они остались такими же мутными, — полуотвернувшись, опять привалился оранжевым ярким шлемом к борту.

Непонятно как, но чувство обреченности и апатии к окружающему миру передалось от Лехи Вадику. Он снова поник, уставившись в пол, смотрел и ничего не видел, в голове присутствовали какие-то мысли, но ни одна не всплывала на поверхность сознания. Сильно подташнивало, и в животе будто что-то натягивалось, накручивалось...

«Может, поэтому говорят — животный страх? Потому что в животе ноет?.. — сказал внутри Вадика незнакомый голос. — Нет, так не пойдет. Встряхнись, парень!»

Вадик поднял голову, подмигнул Игорю, у того на лице не дрогнул ни один мускул.

«Вот сидим, подмигиваем, хорохоримся друг перед другом, а ведь... ведь прыгать каждому придется в одиночку. Один на один с этой... с этой... с этой бездной. Как перед пастью удава... И ведь придет время, когда будешь один на один со смертью! И никто... никто не поможет и не заменит тебя, пусть хоть сто человек будут стоять у овра. И никакие заслуги, и никакие награды... Уф!..»

Эта мысль так поразила Вадика, что страх опять отступил. В конце концов — что этот прыжок по сравнению с тем, что еще предстоит всем нам без исключения, — со смертью?!

7

Когда загорелась над дверью зеленая лампочка, Палыванч просунул руки в лямки парашюта, на котором сидел, форсисто, как показалось Вадику, вскинул его на спину, с лязгом застег-

нул карабины и открыл дверь. Засвистел ветер, поднял в салоне пыль, закрутил откуда-то взявшиеся бумажки — и в двух метрах от Вадика разверзлась синеватая прохладная пропасть. Захотелось отодвинуться от двери подальше... подальше... А Палыванч, поставив одну ногу на обрез и опершись о борт локтем, почти висел над бездной, выглядывая ТУДА. Потом повернулся, показал два пальца и помахал ладонью снизу вверх: поднимайтесь.

Корень поднялся — лицо его было как кусок говядины, — пошатываясь, сделал шаг к двери, остановился, уперевшись шлемом в верхний обрез. Палыванч и курносая спортсменка держали его сзади. Загорелась желтая лампочка. Корень дернулся было прыгать, но его удержали. Палыванч что-то быстро и неразборчиво заговорил ему на ухо, курносая гладила по плечу. Корень согласен кивал головой... А лицо его было совершенно бессмысленным.

Загорелась красная лампочка, и взревела сирена дурным голосом. Палыванч отпустил Корня.

— Пошел!

Пашка обернулся, наверно, не поняв, инструктор легонько толкнул его в плечо и еще раз крикнул прямо в лицо:

— Пошел!

— Есть — пошел! — гаркнул Корень и, блеснув зубами, исчез. Вот был только — и уже нет... И уже белый гриб парашюта распустился где-то далеко внизу... Странно!

Палыванч схватил Игоря — у Игоря было каменно-непроницаемое лицо (Вадик позавидовал: откуда только берется у него такое хладнокровие?), — подвел к люку.

— Пошел!

Игорь ступил было шаг... занес ногу... но вдруг отпрянул назад, ухватился рукой за обрез двери... Глаза его были совершенно круглые и белые, как самодельные оловянные ложки.

— Руку на кольцо! Пошел! — заорал Палыванч и стал отдиравать белый на сгибах, намертво ухвативший дюраль, кулак Игоря. Игорь затравленно озирался и скалил зубы...

Вадик было стыдно... За слабость Игоря, за откровенную телячью радость Лехи. Стыдно — и еще жутко. Как было жутко

и стыдно за людей вообще, когда он случайно попал на бойню... Он тогда год не ел колбасы.

Игоря все-таки оторвали от двери, посадили на прежнее место. Самолет заходил на второй круг. Опять загорелась желтая лампочка, и опять Палыванч, теперь красный, вспотевший, какой-то виноватый, показал два пальца. Вадик ждал этого, но, поднимаясь на вялых, отсиделых ногах, не верил, что уже пришла его очередь, что уже пора, не верил — и все... Он подошел к Палыванчу, не чуя ног, не чуя тела, — лишь одно потное крашеное, скользкое кольцо в правой руке. Палыванч подвел его к обрезу двери. Внизу, у самых ног, плавала дымка... Сквозь нее — квадратами — зеленела, желтела земля... Белело какое-то село... Еле ползла машина по ниточке шоссе...

— Вниз не смотри, — сказал Палыванч. — Смотри в небо, как подобает орлу.

— Ты же смелый... ты прыгнешь, — прошептал над ухом девчоночий тонкий голос. — Только вниз не смотри.

Вадик обернулся, увидел рядом курносое знакомое лицо, в конюшках, в мелких капельках пота, и кивнул, давая понять, что да, он — смелый, что да, он — орел, что благодарен за поддержку, что не будет смотреть вниз, что у него все хорошо и он не подведет, будьте спокойны. И в самом деле, в этот момент он ничего не боялся, ни о чем не думал, он был уверен, что прыгнет и что все будет хорошо.

8

Вадик напряженно ждал, но все равно завывание сирены и команда «Пошел!» прозвучали неожиданно... И когда они прозвучали, Вадик вздрогнул и обернулся. Он обернулся и спокойно, как ему казалось, ответил: «Есть — пошел!» (как положено), и встретился с Игорем глазами, и кивнул ему (совершенно не было страха, ну ни капельки! — даже удивительно), и сделал шаг вперед.

Он сделал шаг вперед — и его тут же задержало, затормошило, будто кто-то держал как щенка за шиворот и тряс; и гигантский насос качал в лицо спрессованный, упругий, волокнистый воздух... Рука как бы сама по себе рванула кольцо, и сразу же появилось жуткое ощущение, будто державший за шиворот отпустил — падение почувствовалось кожей, позвоночником, всеми клетками сжавшегося тела. Вадик услышал удары собственного сердца, они отдавались в руках и в ногах — тук-тук-тук, — а в мозгу, в унисон сердцу, отзывалось: «Ну! Ну! Ну!»

Через четыре удара сердца могучая рука вновь подхватила на лету и так встряхнула — и так от этого лязгнули челюсти, — что из одного зуба у Вадика выскочила пломба...

Сделалось тихо. Очень тихо. Тихо, белесо и как-то благообразно. И пахло необычно и непонятно: то ли составом противомышиным, то ли ладаном или касторовым маслом. И совершенно не чувствовалось, как опускаешься: казалось, висишь на одном месте. Прибили к небесному своду качели, и ты на них качаешься... Над головой неподвижно стоял желто-серый купол в ровных квадратах усилительного капронового каркаса, ветерок пошевеливал кромку, раздувал «карманы», посвистывал в стропях — и таким прозаичным, обыденным увиделось все только что происшедшее, таким маленьким показался купол, что Вадик отчего-то подумал, что парашют раскрылся не полностью. Подергал за стропы... Нет, полностью.

А кто это там орет? Да все матом!..

Метрах в ста висел другой парашютист. Он орал, захлебываясь, похабную песню и размахивал в такт руками и ногами. В оранжевом шлеме... Да это же Леха! Официант, а ругается как сапожник...

— Леха-а! Прыгнул! Молоток!

— Прыгну-ул!

— Молото-ок! — говорю.

— Чего-о?

— Подрастешь — кувалдой будешь!..

— От такого и слышу-у...

— Ха-ха-ха!

— Го-го-го!

— Эй, «второй» и «третий», хватит хулиганить. Готовьтесь к приземлению,— раздалось с земли хрипло-мегафонное. Вадик вздрогнул от неожиданности и стыда: оказывается, на земле все слышно...

Под собой, почти под ногами, Вадик увидел зеленое поле аэродрома, толпу людей (все с мизинец), красные флажки старта, полосатую «колбасу», указывающую направление ветра, а чуть в стороне — несколько рыжих выгоревших крыш среди зелени — лагерь. Движение, то бишь снижение, теперь было заметно. И с каждой секундой все явственней и явственней... Все быстрее и стремительней... Земля приближалась, выгибаясь горбом... То место, куда несло, выворачивалось пупом — все двигалось, перемещалось: ангары, полосатые поваленные столбы, кусты татарника,— а ТО место стояло на месте, и только все на нем увеличивалось, укрупнялось, делалось четче и резче: трещины в земле, пылящая сизым семенем полынь, бегающие ящерицы — все как под лупой... Вот... вот... сейчас... только бы не камень...

— «Второй», смотри на горизонт! На горизонт! Не смотри под ноги и не поджимай их! Не поджимай ноги! «Третий» — тоже! Не поджимай ноги, «третий!» Напрягись, «второй»...

Вадик несколько распрямил ноги — хотя казалось, что они у него «как положено»,— и в этот миг наткнулся на что-то твердое, жесткое, неподатливое... Парашют, пролетев несколько метров по ветру, скомканно и вяло опустился на землю; и было тихо, и стрекотали в траве кузнечики. И вдруг до Вадика дошло, его всего прямо прострелило: ВСЕ ПОЗАДИ! Он уже на земле — вон песок на зубах скрипит... Вадик вскочил — нигде ничего не ломило, не болело! — расстегнул лямки и зачем-то ударил ногой, будто хотел лишний раз убедиться в незыблемости почвы под ним.

Неподалеку человек в оранжевом шлеме отплясывал какой-то дикий танец; он отплясывал и орал что-то нечленораздельное, с безумными, в пол-лица, глазами.

— Ну, как я?.. Видал? — запихивая в парашютную сумку ку-

пол вместе с грязью и кустом какой-то лопушистой травы, спросил Леха.— Ничего я вел себя, а?.. А здорово, а?

Леха был веселый, безалаберный, глуповатый и хвастливый,— Леха был прежним, как в первый день знакомства.

— А ты — молодцом... Ты даже улыбался.

— Правда? — польщенно расплылся Вадик, все прощая Лехе на год вперед.

— Правда... Правда, улыбкой ту твою гримасу я называю условно.

Они рассмеялись. Легко, беззаботно, счастливо. Таким счастливым Вадик не чувствовал себя никогда раньше. Тело сделалось невесомым, и будто переродилось все в организме... Какое-то животное, реликтовое, изначальное, первородное счастье распирало Вадика, сжимало горло, мешало говорить... И весь мир кругом изменился — Вадик это вдруг ясно понял и удивился,— он стал другим, мир,— радостным, солнечным, справедливым; и было два дня, две жизни, две эпохи, два мира: ДО ПРЫЖКА и ПОСЛЕ.

— А что тебе парашютистка говорила? — спросил по дороге к старту Леха, сгибаясь под парашютной сумкой.

— Ревнуешь, что ли? Может, побьешь?

— А что? И отлуплю... Ты гляди у меня...

И они снова беззаботно рассмеялись.

На старте стояли, согнувшись под парашютами, неулыбчивые шесть человек, второй взлет. Окруженный плотным кольцом, лежал на траве, покуривая и блестя зубами, потный Пашка Кореень. Он улыбался и небрежно отвечал на бесконечные вопросы НЕПРЫГАВШИХ. Когда Леха с Вадиком подошли, толпа отвалила от Пашки и переметнулась к Лехе. О, уж тут Леха не ударил лицом в грязь, уж тут он показал себя во всей широте, тут уж он развернулся... Он сбросил с плеча сумку кому-то на руки, снял шлем, отставил ногу... Вадик только успевал поддакивать.

Вадик неожиданно перехватил взгляд одного из спортсменов, что стоял рядом с ребятами из второго взлета. Взгляд его был презрительный и в то же время несколько завистливый — взгляд

варослого на детские игры,— и от него Вадику сделалось как-то не по себе, расхотелось поддакивать Лехе. Отойдя от галдящей компании, Вадик прилег на траву — она пахла почему-то гусями, пылью, горьковатым подорожником,— попросил у Пашки закурить.

— Ну как? — спросил Пашка, протягивая сигарету.

— Не так страшен черт...

— Парашют только тяжело таскать, если далеко унесет.

С поля подходили ребята. Самолет, подпрыгивая на кочках, подруливал по пыльной траве. Подрулив к старту, самолет развернулся, взревев и напустив облако мучнистой пыли, остановился (двигатель стал работать на малом газе редко, как мотоцикл,— чух-чух-чух); по трапу спустился сперва Палыванч, за ним следом Игорь. Ребята смущенно замолкли. Каждый нашел какое-нибудь занятие, даже Леха перестал рассказывать и стал выбивать пыль из своей куртки. Пряча глаза, боком, Игорь прошел к столу, где лежали сумки с распушенными парашютами, расстегнул, отвернувшись от всех, ляжки, снял парашют. Все напряженно молчали, молчал и он, застыв в неловкой, неестественной — полуклонившись — приниженной позе.

— Иди в казарму,— сказал ему Палыванч,— уборку пока сделай.

Игорь прошел рядом с Вадиком, тот брезгливо посторонился. Ему было жаль товарища, он понимал, что дурно так поступать, как он поступил — отказался от друга, стал его презирать и сторониться,— но перебороть в себе это не мог...

9

После прыжков, когда вернулись в казарму, на Вадика напала сонливость. Ни о чем не хотелось думать, есть не хотелось тоже — спать, спать, спать... Он снял сапоги и лег на койку.

Трудно передать, что ему снилось... Что-то похожее на облако, или на тесто, или еще на что-то бесформенное. Оно не

имело названия, не имело очертаний — но оно было ужасно. Ужасно не тем кратковременным ужасом, что бывает иногда во сне, когда за тобой кто-нибудь гонится (крокодил, медведь или разбойник), и когда в самый последний миг приходит спасительная мысль, что это тебе снится, — тут эта мысль присутствовала постоянно, Вадик осознавал себя, помнил, что он спит, но тоска и непрерывный ужас не оставляли... Станный и непонятный был сон.

Вадик барахтался, а студенистая масса всасывала его, вбирала... какие-то шестеренки крутились вокруг, и Вадик проскакивал-проплывал меж их зубов... и вот они заклинили, попали зуб на зуб... все кругом тряслось, лихорадочно лязгало... душно и тоскливо... и хочется кричать, звать на помощь, а почему-то нельзя, почему-то запрещено...

Разбудил его Пашка Корень. Вадик с трудом поднялся — в теле вялость и ломота, голова болит, во рту — поганый привкус йода.

— Пойдем ужинать, — сказал Корень (был он отчего-то печален, глаза запали). — Хватит спать... А друга твоего домой отправили, — сообщил он как бы между прочим.

— А-а... — отозвался Вадик, поведя вокруг себя взглядом, — что ж поделаешь...

Спала почти вся казарма — слышалось бессвязное бормотание, зубовой скрежет, — вставали угрюмые, с красными, налитыми кровью, бессмысленными глазами. И казалось, всем страшно было вспоминать свои сны...

Вадик выпукло и объемно увидел вдруг все происшедшее с ним сегодня; секунду за секундой пережил заново весь прыжок, и от этого сделалось так страшно и тоскливо — аж зашатало... Он удивлялся себе: неужто тот парень, что падал сегодня с километровой высоты вниз головой, с зажмуренными глазами, с поджатыми судорожно ногами и оскаленным ртом, — неужто это он?! И было удивительно, как он мог так ликовать сегодня после прыжка?! Ведь впереди еще — два!

Потом трезвый голос внутри Вадика сказал, что зря он все это вспоминает, домысливает и представляет, зря он самого се-

бя травит; завтра опять прыгать — еще два прыжка, и значит, надо ободрять себя, настраивать, давить в себе слабость, а он, дурак, наоборот — пугает. Ньюни распустил... Ведь, в принципе, все у него хорошо: в грязь лицом не ударил (не то что Игорь), и завтра также прыгнет; прыгнет — и ничего с ним не случится, разбиваются единицы, один на миллион, неужто он один на миллион?

Это говорил разум, и Вадик был с ним согласен, но душа... Ныла.

10

Конечно — и ничего с Вадиком не случилось, — наутро он прыгнул во второй раз, а потом — и в третий.

Правда, когда проснулся наутро, долго вслушивался, надеясь на чудо, может, дождь пойдет или буря какая-нибудь разразится. Но чудес, как известно, не бывает.

На старте Палыванч сказал, косолапо расхаживая перед строем:

— Ребята, не дрейфь. Второй прыжок — переломный. Вчера вы как бараны перлись... Сегодня уже знаете, как и что. Потому и страшно... Главное — второй прыжок. Закрепительный. Потом ва уши не оттянешь от парашюта.

И действительно, после прыжка — переломного или, как говорил Палыванч, «закрепительного» — Вадик устыдно было вспоминать вчерашние свои страхи...

Наутро Вадик шел по родной улице со значком на лацкане пиджака: «Спортсмен-парашютист 3 разряда». Шел — и улица казалась другой, незнакомой, не такой, как раньше; конечно же, за пять дней не изменилось ровным счетом ничего — а вот другой стала улица... Встретил деда Колюшонка. Он сидел на лавке у своего дома и качал на коленях завернутую в полотенце трехлитровую банку — сбивал из сливок масло; у ног его, пипкая и пуская носом пузыри, ползали внуки.

— А, Владислав! — закричал дед, увидев Вадика. — Ну как? Прыгнул?

— Прыгнул.

— А Игорек, товарищ-то твой, он как?

— Не знаю,— отмахнулся Вадик, поскорее проходя мимо.

— Куда же ты? Расскажи...

— Потом, потом...

Вадик почти бежал по улице, боясь с кем-нибудь встретиться. Особенно с Игорем. Как с ним вести себя, что говорить? Забежав в проулок, он, оглядываясь и одновременно ненавидя себя за эти оглядывания, снял с лацкана новенький голубенький значок...

Но дома все равно поинтересовались, как прошли прыжки, все ли было хорошо.

— Нормально все,— выдавил Вадик, чуть не подавившись холодцом.

— А что же Игорь не приходит к тебе?

— Да мы с ним чуть-чуть поссорились там. Из-за пустяка...

Так и пошло: говорил всем, что хорошо, нормально все было на прыжках, с Игорем стремился не встречаться... После службы — Игорь служил в стройбате — история эта забылась в людской памяти намертво, и лишь Вадик с Игорем по-прежнему, встречаясь, опускают глаза и расходятся молча. Так у них и до сих пор.

ТЕСНЫЕ ВРАТА

Когда мы с сыном выскочили из трамвая, рейсовый автобус, тупоносый, забрызганный высохшей грязью и оттого похожий на борова, уже выезжал с автостанции. Я замахал рукой, автобус на углу остановился.

— Куда? — спросил шофер, полуобернувшись и протягивая ко мне короткопалую, красную, с загнутыми внутрь ногтями руку.

— Извините, опоздали... У меня — вот... — показал я билеты, купленные накануне.

Шофер разочарованно отвернулся, бросил через плечо:

— Проходите, не стойте в дверях...

На заднем сиденье оказался знакомый, вместе в школе учились когда-то. Он почти не изменился, лишь посуровели и огрубели черты лица да глаза стали беспокойными; одет он был в заграничное кожаное пальто, великоватое ему, купленное, видно, по случаю.

— Здравствуй, Сергей! — окликнул я знакомого.

— А-а!.. Привет! Ты... ты зачем?.. — ощупывая меня цепкими, невинно-синими глазами, спросил он. — В такую погоду только дома сидеть...

— А сам?..

— Я — по делу. Надо. Край!

Сергей выдержал паузу, но заметно было, что молчание это далось ему трудно: что-то прямо-таки распирало его.

— К предкам надо... кое-что там... — И, не вытерпев, подмигнул счастливо: — Тачку беру. «Ниву» — понял? Последний раз трясусь на этой колымаге. Все! А ты?

— А мы едем к деду... К деду Андрею.

— А-а... — Глаза его сделались бесцветными. — Это у тебя сын уже такой? Ну ты даешь... Как звать тебя, мужик?

— Андрюшка.

— Надо говорить — Андрей! — поправил я сына.

— Андрей.

— А-а... Ну-ну... Молодец.

Глаза Сергея стали темными, и он отвернулся к окну...

Вышли мы среди сырого, распаханного поля. Автобус укатил дальше по лоснящемуся черным атласом гудрону, а мы свернули на развороченный тракторами проселок, серый от недавнего дождя. Долго шли в гору, туда, где дорога размывалась, сливаясь с мутно-лиловым небом. Сын быстро устал, начал отставать и потихоньку канючить, а я все шел и шел, и торопил сына — мне хотелось поскорее взойти на эту гору, чтоб увидеть конец пути, то место, мой родной хутор, куда мы шли... И вот мы на самой маковке. Внизу — бурая, изрезанная коровьими стежками, как морщинами, широкая балка; трава на ней местами так сильно выбита скотом, что долина кажется покрытой лишаями. В километре от нас желтеет глинистая плотина с разлившейся за ней стылой водой. Лес, начинающийся от пруда отдельными купами, клоками, клинами, дальше все гуще, темнее, с рыжими вкраплениями необлетевшего дуба, с бледными прослойками осинника на мочажинах, — тянется по балке к самому ее началу, узенькому овражку, «головке» по-нашему. Там, по обе стороны от головки, сереют дома с выгоревшими, одного, табачно-кофейного, неказистого цвета крышами; тусклым стеклышком, положенным на ил, поблескивает еще один пруд, точнее, прудок, — прямо посреди хутора... В детстве я знал как собственную ладонь и лес, и пруды, и хутор, — сейчас мне все кажется неведомым, незнакомым.

Мы присели на ящик, что валялся возле «границ», — дубового, врытого в вершину земляного холмика, отесанного столба с нанесенными на его затесах непонятными цифрами. Решили перекусить.

В поле было чисто и пустынно. Из ярушки, что по левую руку, наносило палым дубовым листом, прелью, осклизлыми, мороженными грибами... Резко пахнул кофе из термоса, заглушив

все прежние запахи, перенес на минуту в дальние теплые страны, но, смешавшись с духом увядающей жизни, растворился в нем, собой его усилив. Тучи громоздились низко и густо, одна над другой, и оттуда, из-под них, тянуло пронзительным, неровным ветром, и казалось, — ветер этот выжимается порциями из туч, как сок из сизой виноградной грозди; он приносил то сладкую горечь далекого сырого костра, то леденцово-терпкую свежесть мокрого снега, то теплое дыхание обнаженного чернозема. Обочь дороги стояли матерые травы, — камышеватые, они тоненько пели сухими, в трубочку свернутыми мечиками листьев бесконечную песню; багрово-красный конский щавель с осыпавшейся метелкой ссутулился, озябнув, и похож был на старика — не хватало только валенок...

Андрюшка ел, посапывая, и молчал. Он ни разу за восьмилетнюю жизнь свою не был тут, на моей родине, — что он думает?.. Я ждал, когда же сын спросит что-нибудь, — он не мог не спросить, — но Андрюшка молчал, ел много и жадно, проголодавшись за дорогу, я радовался его мужскому аппетиту — и ждал... Пообедав, снова тронулись в путь; и опять я ждал, а сын попрежнему молчал, лишь крутил головой.

— Пап, а в этом пруду рыба есть? — неожиданно, когда я уже потерял надежду, спросил он, и от его голоса, потревоженные, взлетели утки. Они поднялись из-под прозрачно-розовых кустов краснотала, нависших над мерцающей водой, то лиловой, то аспидно-черной, с плавающими на ней багровыми, коричневыми, или уже темно-синюшными листьями.

— О, какие жирные! А в Боровом заказнике, куда Пал Палыч брал меня на охоту...

Сын смутился, не договорив. Павел Павлович — ему отчим, уже три года — новый муж моей бывшей жены. Он директор нефтебазы, крепкий, с отличным здоровьем в свои пятьдесят, баблагур и либерал, со всеми на «ты», короче — «современный деловой мужик, умеющий жить».

— Он брал тебя на охоту?

— Да. Ты знаешь, пап, он мне из ружья давал стрелянуть... и порулить на своей «Волге»... — захлебываясь, сообщает Андрюш-

ка и опять останавливается; я поспешно отворачиваюсь: сын, верно, встретил мой взгляд...

— Вы с ним и в цирк ходили?

— Ходили. Я не хотел... Говорю, чего я там не видел, был два раза, а мать — иди, а то лыжи не куплю.

— Что ж там видели?

— Да-а... Собаки в футбол играли... То же самое, что с тобой... и по телевизору такое каждый день показывают.

— Я куплю тебе лыжи...

Сорвался откуда-то порыв ветра, подняв, закрутил тяжелые мертвые листья, пригнул к земле седой чакан, сморщил чистое лицо пруда; вместе с ветром прилетела бело-черная крачка, скользнула над потускневшей водой, над нами сделала круг, и тревожно, резким голосом, сказала о своей печали...

— А ты не считал, сколько лет Пал Палычу, даже с его директорской зарплатой, пришлось не есть, не пить, не одеваться, чтоб купить «Волгу»? Ты думал когда-нибудь над тем, откуда берутся у вас на столе балыки, когда в магазине их нет?..

— Думал,— отвечает сын, потупившись; и вдруг еле слышно говорит: — А кто этот дед Андрей, к которому мы идем? Расскажи про него...

* * *

Было Вербное. Бабка Оля блинов напекла, сложила их на столе в стопку; поставила две чашки: одну со сметаной, другую с топленым коровьим маслом.

День выдался солнечный — впервые за долгое время. От воды, что стояла в ведрах у печи, на лавке, плясали по потолку ясные блики, из сенец,— когда бабка зачем-либо выходила — несло оттаявшей горьковатой пылью, сырое дерево кислило спиртом; телок тогда, привязанный у самых дверей, рвался за бабкой следом, натягивал узловатую веревку, досадливо, норовисто мычал; Ванюшка тоже подбегал к порогу, ловил, трепеща ноздрями, волнующие запахи, переступал с ноги на ногу на сыром глиняном полу. Бабка всякий раз прогоняла его.

— Застудишься! Уходи! И что ему на печи не сидится?.. Поигрался бы чем... Радиву послушал...

— Надоело! И есть хочу... Дай блин!

— Вот я тя сейчас накормлю!.. Неслух! Отец придет — все расскажу, какой ты...

— А я все равно уйду на двор!

— Я те уйду! Вот возьму хворостину...

Ванюшка, может быть, еще поругался бы от скуки с бабкой, но тут по радио запела Русланова; он замер, потом вскочил на лавку и принял ухом к черному лопуху.

Ох, валенки, д'валенки,

Ох, д'не подшиты, стареньки...

И вот отец заходит в хату... Следом — дед Максим семенит. Вошел отец — и показалось Ванюшке, что на дворе сиверко поднялся; глядь в окно: нет, все по-прежнему: снег прямо плывет, на погребке уже земля зачернела, от игренного мерина, на котором приехал отец, пар клубится, и галки по его светло-рыжей спине скачут, шерсть дергают.

— Мария где? — с порога спрашивает отец про мать.

— В Краснолипье ушла, — отвечает бабка, — к сестре. Блинов понесла... У них, слышно, почти голод.

А певица заливается:

По морозу босиком

К милому ходила...

— Выключи! — говорит отец.

— Да нехай играет, — сказал дед Максим и, тронув за рукав, повел его к столу. Только они сели за стол, Ванюшка скок к деду на колени — и ну блины метать.

— Силен! Силен! — усмехается дед Ванюшке, а тот и не слышит — в кои-то веки на столе такая вкуснотища.

А отец клевнул раз, клевнул другой, — свернул сигарку и давай дымить.

— Ванюшку берегите... если что... — говорит вдруг, а сам под ноги глядит и воняет табачищем.

— Да ну!.. Что ты, Андрюх?.. — испуганно забормотал дед. —

Авось обойдется... Там тоже люди, поймут. Кто ж знал, что он завалится... А в случае чего — корову продадим, она у нас гладкая, с руками оторвут, у бабки холсты есть... Покроем убыток, не боись.

— Да разве в этом дело! — вздохнул отец, сворачивая узловатыми пальцами новую сигарку.

Концерт по радио кончился, и послышался голос Левитана, передающего последнюю сводку Совинформбюро; бабка подвернула громкости, и металлический голос диктора заполнил всю хату — тоненько задребезжало лопнутое стекло, замазанное по трещине мылом.

— Несмотря на нечеловеческие лишения, голод, мороз, защитники Ленинграда — бойцы доблестной Красной Армии и рабочий класс города Ленина — выстояли, выдержали суровую зиму в железном кольце блокады и не пустили фашистов в колыбель революции...

Отец хлопнул ладонью по столу. Ванюшка испуганно замер с куском блина во рту...

— Люди там небось кошек-собак поели, а мы — блины трескаем... — и вскочил, и заметался; потом вдруг остановился, постоял, вперившись взглядом куда-то в угол, где висели в крашеной рамке фотографии: пожелтевшие — с дедом и бабушкой, свежие, на которых был снят причесанный Ванюшка, они с матерью в свадебных нарядах, махнул рукой: — А-а, что теперь... Завтра воздадут... И поделом!

— Ничего... ничего, сынок, — забормотал дед. — Бог даст обойдется. Ты старый председатель, в райкоме тебя ценят... Корову продадим... А коль уж... так дальше фронта не пошлют.

— Да не в этом дело, тятя! Эх, как ты не понимаешь!..

Он опять присел к столу, посадил Ванюшку к себе на колени, взъерошил ему вихры, зарылся в них губами...

— Ничего, — бормотал дед, — бог даст... Корову продадим...

Отец поднялся, быстро, порывистыми движениями, оделся, на ходу буркнув: «Мерина на конюшню отгоню...», вышел из хаты. Ванюшка, пока бабка хлопотала возле стола, стащил у нее свои сапоги, выскочил следом... О, что творилось на дворе! Пахло

мокрой преющей соломой, сенной трухой от обдерганного, похожего на гриб, стожка, усталой потной лошастью, из погреба, сквозь раскрытое творило,— проросшей свеклой. Отец, ткнув кулаком мерина в живот, чтоб он подобрал его, подтянул подпругу, взнуздал, с лязгом вложив меж стертых зубов удила с засохшей бурой пеной на них. Бабка вынесла помой.

— О, лихоимец, уже выскочил!

— Нехай побегает...— заступился отец и непривычно ласково посмотрел на сробевшего Ванюшку: — Небось не заболает.

Бабка плеснула помой, из-под плетня тут же кинулись две собаки,— рыча друг на друга, стали хватать картофельные очистки, случайно, видимо, брошенные бабкой не в то ведро.

— Вишь, что деется... Рази собачья это еда?

— Война...— глухо произнес отец, вновь закуривая.

На почернелую от дождей, горбатую вереву над воротами опустился вдруг бесшумный сыч. Повращал своими круглыми, похожими на тусклые пуговицы, слепыми глазами и три раза подряд крякнул.

— Кыш, анчихрист! Кыш! — кинулась к нему бабка, размахивая руками. Сыч снялся, черным призраком мягко заскользил над крышами, и на лету исторг в четвертый раз — гулко и раскатисто — кгы-а!

— Ох, Андрюха, сынок, не к добру!.. Вишь, сыч-то...

Отец криво усмехнулся, затоптал в раскисший снег окурков, произнес:

— Ему все одно где-нибудь садиться надо было... А ты, мать, хватит... Не пугай ребенка.

И было в его голосе что-то жесткое, даже злое, не отцовское...

* * *

Мы сидели на чурбаках под облетевшей бояркой с шафраново-красными, кривыми, заскорузлыми ветвями. Палые ее листья — совсем еще свежие, багрово-желтые, и давнишние, уже почерневшие,— ровным слоем покрывали площадку с вытертой бурой тра-

вой, обрывки влажных, сальных газет, серое большое кострище... Полуобгоревшие дрова с черными, обугленными концами, прибитая зола с пятачками от крупных, с боярки, дождевых капель, слипшиеся листья — все это напоминало об ушедшем лете, о неведомой жизни, что совсем недавно теплилась тут.

— А Ванюшка — это дед Ваня?

— Да. Он тогда чуть помоложе тебя был.

— Что — и ниже меня?

И вновь на лице сына засветилась мечтательно-отрешенная улыбка, а глаза опять подернулись каким-то светлым туманом.

Отдохнув, опять пошли мы в гору, — по лесу, по узкой тропке, что была вся в острых коровьих следах. По кустам валялись грязно-желтые кудели повилики, черная, побитая недавним ночным морозцем крапива прямо пахла свежестираными простынями; в вершинах молодых дубков, то голых, темных, то с рыжими, необлетевшими кучерявыми листьями, свистел-пел ветер, гремел коробочками дикого хмеля... Деревья расступились неожиданно, и сразу увидели мы с бугра пройденный путь: балку, пруд, половину леса; впереди — хутор с разбросанными домами, среди столетних дубов, в окружении нестареющих лип, маленький прудок посредине хутора, заросший по бокам ивой и чаканом, а за плотиной — вербой.

* * *

Текло все, снег был как каша-затируха, пар поднимался от пригорков, от крыш, от мерина, от рук. Он поднимался, сизоголубой, к белесому небу, клубился в вышине, — солнце купалось в нем, промывало, ясное, свои оченки, — и серебряным колокольцем — ярко, малиново, ликующе дилинькал жаворонок, и верещали воробьи, возясь в блескучей луже. Ванюшка ехал с отцом на санях, пахло кислой шерстью от отцовского полушубка, от саней — оттаявшим лыком, из лога, что за прудом, — тоненько, еле слышно — распутившейся вербой (ее заросли стояли там цыплячьим выводком); вековые дубы с бархатной, набух-

шей корой почернели, женственные липы сделались коричнево-красными, цвета кирпичной пыли, и наносило от них баней. К пруду шли лошади, разбрызгивая жидкий снег, хватая его мохнатыми губами. В овраге, возле пруда, они пили, сгрудившись, из старой колоды с изгрызенными краями. На вздувшемся, синюшном льду конюх дед Балкан в пестром от заплат тулупе черпал из агатово-голубой проруби воду, расплескивая, носил ее в бадьях к поилке, — и видно было даже отсюда, как трясется от натуги его коричневая шея... Напившись, лошади поодиночке поднимались назад к конюшне, — некованные, они часто осклизались, ноги их при этом смешно разъезжались — кузнеца еще осенью забрали на фронт.

Возле школы встретили баб, шедших со свинарника. Лица у них дубленые, обветренные, руки у всех большие и красные как гусиные лапы; у одной, самой молодой, Шурки Тихониванчевой, на щеке родинка с копейку, — когда улыбается, на родинке появляется ямочка.

— Куды это ты, Андрей Максимыч? За Мариёй своей следом, что ль? Так не догонишь уже... — смеются бабы — зубы у всех как тыквенные семечки, а десны арбузные — и еще что-то говорят и говорят, смеясь, и не обидное вроде, а Ванюшка почуял, как закипает отец.

— Теперь не догонишь... Васька-летчик уже небось про самолеты рассказывает... На поправку, слышно, после ранения приехал. С орденом!

— Ну так что ж... — отвечает отец. — Если и повидаются — греха в том нет. Все ж таки первый муж... — а самого чуть не трясет, и желваки на скулах перекатываются.

Ушли бабы, говоря о чем-то, смеясь. Отец дернул вожжи, потом обернулся, посмотрел вслед бабам и потрепал Ванюшку по плечу.

— Ничего... брешут бабы... язык без костей...

Показался скособоченный амбар, возле которого суетились люди, стояли возы. Левый задний угол амбара провис — подтаяла под сваей земля, дубовый столбик выперло в сторону, и угол осел. Доски пола разошлись, перерубы развязались, и зерно

огромной желто-золотистой лужей расплылось по снегу, стекло в овраг. Из оврага слышался гомон — там собирали в ведра, в кошелки серую кашу из снега, грязи и пшеницы, подавали наверх, а тут перекладывали ее в мокрые темные мешки и на санях отправляли сушить. Среди народа меж возов сновал парторг, одно-рукий дядь-Саша-Гамаюн, с болтавшейся за узкой спиной винтовкой. Такая же винтовка лежала у отца в ногах, в сене, старая, с поцарапанным прикладом. Оружие выдали всем коммунистам сразу после того, как область была объявлена прифронтовой зоной. И каждую ночь по очереди коммунисты охраняли конюшню, свинарник и амбар с семенами от диверсантов, которые представлялись Ванюшке сутулыми, небритыми мужиками с огромными мешками в паучьих свастиках — такими их рисовали на плакатах.

Отец остановил мерина. Долго глядел в сторону амбара... Это несчастье произошло в его дежурство, прошлой ночью. Он вздохнул с каким-то всхлипом, провел узловатой рукой по лицу; и так Ванюшке стало его жаль — хоть плачь, и понял вдруг, что отцу сейчас очень тяжело и нужно его отвлечь от дум.

— Пап, глянь, сколько грачей!.. Ты мне собьешь одного из винтовки?

— А?.. Что?? Грача? Грача... Конечно... Конечно, сынок. Только вот патроны я забыл. Сбегай принеси... Они там, на грубке.

— Знаю! — обрадованно крикнул Ванюшка и припустил по лужам. Солнце тысячами голубых искр разлеталось перед глазами, — а он, завернув набок голову, будто закусив удила, представлял себя конем, стройным, серым, в яблоках, донцом с длинной гибкой шеей, с точеными копытами, — как у милиционера товарища Зуева... Прибежал, запыхавшись, — дома никого не было, пахло кислой опарой, пыхтевшей в дёже, масляными блинами, телком, — прямо в сапогах залез на печь, взял две обоймы — патроны были горячие и колючие. Поколебавшись, стащил из стопки на загнетке румяный, ноздреватый блин; съел на бегу, воровато оглядываясь: не видит ли бабка? Встретил по дороге Кольку-Копытка. Показал ему патроны.

- Видал? Мне отец сейчас грача подстрелит. Из винтовки!
- Залива-ай...
- Принесу покажу...

* * *

Мы шли по щербатой улице. То там, то тут стояли брошенные, разваливающиеся дома, попадались и вовсе одни фундаменты, и только запущенный, одичалый сад с багряным ковром да заросший коричнево-бурым чертополохом огород напоминали, что тут когда-то жили люди. Каменное здание школы разобрали, валялись на этом месте горки позеленелой известки да уцелело крыльцо, сложенное еще до войны из светло-красного кирпича; оно было усеяно свежей подсолнечной шелухой. Клуб, похожий на ригу, был заколочен, изгородь вокруг него подрыва свинья. Пройдя по улице, вышли мы к конюшне с просевшей, похожей на седло, крышей; рядом с конюшней когда-то стояла кузня — отец в ней работал, — сейчас об этом напоминал лишь холмик ржавой земли. Но пахло здесь по-прежнему: аммиаком, железом и овсяной соломой. Однако лошадей на варке, огороженном слегами, истертыми до блеска, изгрызенными, было мало, да и те какие-то невзрачные, облезлые, худые — «нестроевые», как сказал бы отец. А раньше, еще на моей памяти, кроме обычных коняг, были у нас и «орловцы», и «донцы», и «метизованные». Неужто эти клячи со всеми признаками вырождения — потомки тех коней?!

Возле конюшни встретили женщину, шедшую на свиноферму, откуда слышался визг свиней, шум дробилки, откуда пахло молочными поросятами и пареной пшеницей. Женщина скользнула взглядом по мне и не угадала.

— Здравствуйте, тетя Шур!

Женщина подняла лицо — родинка на коричневой щеке почти не заметна, — и светлые глаза ее загорелись узнаванием.

— Приехал, значит... Давно уж тебя... Давно. Ты же... Ты же Терентьев?.. — вырвалось у нее, и лицо засияло, а на родинке

появилась еле заметная ямка.— Вишь, голова еще не совсем дырявая — вспомнила тебя... А ведь уехал ты совсем мальцом. А это сынок твой, стало быть? Похож, похож.

Она умолкла на какое-то время, потом произнесла в задумчивости:

— Стало быть, в гости приехали... А к кому?

— К деду Андрею.

— К какому Андрею? А-а... Это к тому, что?..— не договорив, опустила голову.— Ну, своди... Покажи... Это хорошо.

И ушла, хлопая голенищами резиновых сапог.

* * *

Поодаль, за изгородью конюшни, черно-синий клювастый грач сосредоточенно ковырялся в навозе. Отец выстрелил — Ванюшку ударило по ушам, запахло кислым дымом,— грач, подскочив, ткнулся в снег, раскинув крылья, разинув большой клюв, из которого закапала алая, яркая на снегу, кровь. Ванюшка кинулся, схватил грача — он был теплый, но голова уже безжизненно болталась. И восторг, и жалость, и непонятный страх, и любопытство — все одновременно почувствовал Ванюшка, держа в руках грача.

— Пап, а ему сейчас не больно? Глянь — кровь...

— Нет, сынок, он теперь ничего не чувствует...— сказал отец, погладил Ванюшку по спине, и вдруг наклонился и поцеловал губами, воспаленными губами.— Ну, беги...

— А ты еще стрелять не будешь?

— Нет, не буду... Я мерина распрягу.

Ванюшка бежал через Палыванчев огород, по меже,— восторг победил в нем все другие чувства, хотелось поскорее показать добычу Кольке-Копытку. Он уже представлял Колькины расширенные глаза, прикидывал, станет ли Колька меняться на взаправдашний солдатский котелок,— и вдруг что-то остановило. Ванюшка обернулся: отец выламывал зачем-то палку из плетня, потом, ссутулившись, зашел в конюшню... Ванюшка обернулся,

увидел все это, и вновь побежал, и через минуту уже торговался с Колькой, и не слышал выстрела, не видел, как на измазанной навозом попоне выносили из конюшни отца.

* * *

Вот мы и пришли.

В поле, среди черной, благообразно расчесанной плугом земли, клин бурой некошенной травы, несколько согнутых лозин и кресты... Кладбище. Поодаль от всех, за ветхой, кое-где завалившейся оградой, несколько старых, неприбранных могил. И к одной из них я подвел сына.

— Дед, мы пришли!..

Больше я ничего не сказал, а хотелось... Ведь отец мой, тот самый Ванюшка, назвав меня после рождения в память деда Андрея, через семнадцать дней передумал, убоявшись то ли рока, то ли глупой молвы, и записал в метрике другое, модное тогда, имя, и до сих пор еще стыдится «ворошить прошлое»,— об этом я хотел сказать...

Ветер над нами струился меж лозиновых, растопыренных пальцев, деревья поскрипывали, жалуясь, верно, на судьбу, осень и старость, а мы стояли и молчали над могилой деда Андрея. Минуту, две или, может, час мы стояли — не помню... Сзади послышалось побряхтывание, подошел одорукий дядь-Саша-Гамаюн. Поздоровавшись, я достал бутылку вина и раздвижной пластмассовый стакан.

— Хороший мужик был ваш дед Андрюха. Мы с им товаришши,— бережно, подрагивающей руксй принимая вино, сказал Гамаюн.— Нехай земля ему будет пухом! А мы побудем живы! — и медленно, врасстяжку, выпил.— Ух, сладка...

Я тоже выпил и, слив из бутылки остатки вина, вмял донышко стакана в пышную, давно не рожавшую, податливую землю.

— Конечно, была на ем вина. Но не такая, чтоб жизни себя лишать...— Гамаюн смотрел под ноги, на выбеленные о траву

юски своих кирзовых сапог.— Другие вон... и ничего, живут, стыд, как известно... особенно по нынешнему времени. А он — вишь как осудил себя... Разных людей земля носит, но путь у каждого свой... и свои врата. Помнишь? — Он выпрямился и, закрыв глаза, чтобы, наверное, не сбиться, произнес на одном дыхании: — Входите тесными вратами; ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их. Во как! Две тыщи лет этой истине...

К вечеру распогодилось, ветер улегся, стало холодно, и запахло подмерзшей землей, и потянуло откуда-то свежей капустой — хрустящей, ломкой, зяблой. Над самой землей багровела длинная узкая полоса, будто где-то далеко-далеко горело живье. Мы шли по разбитой, подсохшей за день, звонкой от морозца дороге, узко белевшей среди безмерного, глухого пространства; шли, взявшись за руки, — и через руку сына я слышал удары его сердца. Он жался ко мне и лепетал:

— Я матери ничего не скажу, пап. А то она больше с тобой не отпустит. Скажу, в кино были...

— Не надо, не ври. Здесь нечего скрывать.

Слева появился освещенный изнутри, празднично-нарядный автобус, — и казалось, что играла в нем прекрасная, добро и жизнь утверждающая музыка, что вел его голубоглазый кудрявый водитель, каких рисуют на рекламных туристических проспектах, у которого не было красных рук с загнутыми внутрь ногтями, и что ехали в этом автобусе мечтательные бессребреники...

ОДУВАНЧИК

Раннее утро. Почти вплотную подступает к самолетной стоянке лес; разграничивает их неширокая, в двадцать-тридцать метров полоса некошенных, лохматых трав. Из леса тянет росистой хвоей, горечью сырой осиновой коры, перестоялыми сморчками. Пеночки и славки уже проснулись, приветствуют мир веселыми песнями, репела деловито цвиркают, им видно, не до песен, передразнивает кого-то пересмешница сойка.

Запахи, звуки проснувшегося леса наплывают, покоряя Левку, унося его от действительности, и на какое-то время он забывает, где находится и что ему сегодня предстоит, — его полнит безмятежная музыка рождающегося утра. Но ненадолго это... Вот чертыхнулся техник, сливавший под фюзеляжем отстой в банку, в нос резко шибануло авиационным клеем, и Левка увидел себя стоящим у самолетного крыла, рассеянно ковыряющим краску на бугроватой обшивке.

«Ну, сегодня все решится. Или — или!» — в который раз говорит себе Левка, рассматривая свои пальцы, длинные, тонкие, с розовыми ногтями, под которые набилась серебристая краска.

Затряслась земля, и будто распороли утренний, плотный воздух: где-то в конце самолетной стоянки рыкнул двигатель, за ним — другой, ближе и громче; несгоревший керосин, совсем как от бабушкиного примуса, защищал глаза, запершил в горле, и Левка почти физически ощутил, как, властно заглушая, растворял он в себе прохладное дыхание леса; не услышал, а как-то почувствовал, как пичуги, смолкнув на полуноте, порхнули из ближних кустов прочь...

От соседнего самолета вразвалочку подошел Санька Селиванов, в шлемофоне и тонких беспалых перчатках.

— Ну что, вылетаешь?

— Попробую.

— Ты брось это... Главное, взять себя в руки. И прочь эмоции! Волю сожми вот так! — Санька сильно ударил кулаком по крылу, и Левке показалось, что лопнула тонкая кожа на его перчатке.

Санька, всю зиму сдиравший у Левки аэродинамику и сопромат, самостоятельно вылетел одним из первых в эскадрилье и уже летал без инструктора в зону и по маршруту, про него говорили, что он талант, что прирожденный летчик и что «самолет чует задницей», а это было высшей похвалой.

— Поменьше чувств, вперед и с песней! Остальное — дело техники. А техника у нас — сам знаешь... — И он опять стукнул по крылу, теперь ладонью, мускулистой и крепкой, как подметка, — и звук получился гулкий и громкий.

Из-под самолета вылез с банкой желтоватого отстоя чумазый техник, косолапый и с мешками на коленях.

— Ты чего это хулиганишь, Селиванов? А ну иди к своей машине. Пошел, пошел! — прогонял техник, глядя рукой крыло: не помял ли? — А ты чего раскис, по бокам развис? — хмуро посмотрел он на Левку. — Плюнь, считай дело в шляпе — вылетить. Шатун и не таких дубов выпускал. Ну-ка, ну-ка... надевай шлемофон — вон он уже идет.

Показался комэск, шел он, как всегда, качаясь и мягко припадая на ноги, за что и прозвали его Шатуном. Когда комэск подошел, Левка сделал два шага ему навстречу, приложил руку к шлемофону.

— Товарищ проверяющий, курсант Львин к полету готов.

— Вижу. Настроение как?

— Боевое! — ответил Левка и покраснел.

— Не вижу. Ну да ладно... У тебя что? — повернулся к технику.

— Все в порядке, товарищ подполковник. Самолет к полету готов.

«А курсант скованный,— думал Литвинов, пристегивая парашютные лямки.— Похоже, поставил на себе крест, хоть и хорохорится из последних сил».— Тебя как звать, Львин?

— Львом.

— А полностью?

— Зачем вам? — смутился Левка.

— Ну как же... Ты человек уже взрослый...

— Ну, Лев Николаевич.

— Ого! Кучерявое имечко. Прямо как у классика... Нет, я не смеюсь, не подумай... Это твои стихи в гарнизонной газете печатали?

— Мои.

— Хорошие стихи. Нет, правда... Первый раз с поэтом летаю, даже не верится... О ты, черт, карабин что-то не застегивается... А чего же ты меня боишься, Лев Николаевич? Что такой заторможенный?

Левка вздрогнул от неожиданности и потупился.

— Я не боюсь...

— Правильно, чего меня бояться, я — добрый дядька.

Левка взглянул на комэска через плечо, улыбнулся.

— Да я знаю.

— Вот и хорошо... Короче так, Лев Николаевич, в полете делай все сам — меня нет,— договорились?

— И вмешиваться не будете?

— Конечно, не буду.

— Ладно, посмотрим,— ухмыльнулся Левка.— Мне уже обещали не вмешиваться...

— Говорю — не буду, значит, не буду. Запускай и поехали... А стихи ты в самом деле пишешь неплохие,— проговорил Литвинов, устраиваясь поудобнее на жестком сиденье.

...Этого Львина проверял сперва командир звена. На разборе полетов вечером докладывал он, как всегда обтекаемо:

— Мне кажется, курсант еще недостаточно подготовлен. Часто допускает ошибки, иногда очень грубые. Я думаю, пусть инструктор поработает с ним дополнительно.

В чем не подготовлен курсант, какие ошибки допускает — не сказал.

Потом, после дополнительных упражнений, летал с Львиным майор Волков, заместитель командира эскадрильи.

— Летчика из него не получится... (шлеп)... — сыпал словами маленький майор, быстро расхаживая взад-вперед и шлепая себя по колену снятым шлемофоном. — Списывать надо... (шлеп)... Пусть хвосты заносит... (шлеп)... Раскис, понимаешь, как ба-рышня... (шлеп)...

«Чего он шлепает? — подумал тогда Литвинов. — Так и очки расколет...»

— Я ему высотомер и компас отключил... (шлеп)... Он даже не почесался... (шлеп)... Одно слово — созерцатель... (шлеп)... Говорят, стишки сочиняет... Ха-ха-ха... Вот и пусть... (шлеп).

Волков был старой закваски, еще из «сталинских соколов»; любил ругаться в эфир, любил отключать у курсантов приборы и всячески вводить их в заблуждение, а еще больше любил, когда они быстро замечали подвохи и «действовали согласно инструкции». Таким он прощал все: и плохую успеваемость, и дремучую лень, даже самоволки...

Запустив двигатель, Левка загерметизировал кабину, проверил системы. Все было исправно, показания приборов в норме. «Ну, главное, собраться, не спешить», — в который раз сказал себе, выруливая со стоянки.

Самолет рыскал по рулежке, норовя съехать на сизую от росы мураву. Левка всякий раз приглушенно чертыхался, выправляя непослушную машину, не желающую катиться ровно, и каждый раз сжимался, затылком ожидая окрика. Но Литвинов молчал...

Утро было малиновое, росистое, с сиреневым, густым и прозрачным воздухом. Взлетная полоса, потемневшая, влажная, вся из квадратиков, будто маскировочной сетью покрытая, лежала в седых, заповедных для косарей травах; кто-то прошел по траве, наверное, караульный, — темнел его извилистый, ярко-зеленый след. В конце полосы, над фиолетово-синим, с алыми макуш-

ками лесом, куталось в бледно-розовые распашонки тучек юное, по-детски пухлое солнце.

Получив разрешение на взлет (руководил полетами майор Волков), Левка отпустил тормоза, дал полный газ. Двигатель захлебнулся, закашлялся, набирая обороты. Но уже через секунду-другую Левку прижало к спинке сиденья — и он наяву увидел, как сзади упирали тысячи лошадиных сил. Чудо-кони понесли прямо на темно-голубую, размытую розовой дымкой полосу горизонта, что рассекала зеленоватое лобовое стекло. Упругие струи, бившиеся под крылом, выровнялись, выправились, — теперь самолет скользил меж них, подобно топору, расщепляющему древесные волокна; треск от раскалываемых, разрываемых струй-волокон слился в оглушающий грохот.

Самолет оторвался, и заерзал, зарыскал, как велосипед без руля, как флюгер при слабом изменчивом ветре, но с каждым мгновением скорость нарастала, выравнивая, вытягивая в струнку размашистый, от стремительности нерасчетливый порыв машины. Вот со стуком убрались шасси, и, будто корявая оболочка слетела с крыльев, самолет подкинуло и понесло еще стремительнее, вот спрятались закрылки, и, на миг провалившись, самолет вновь взмыл, сделавшись еще острее, еще обтекаемей. Левка отклонил ручку управления, ставшую тугой и упругой, влево; полоса горизонта проходила теперь наискосок лобового стекла, и казалось, что не машина накренилась, а сама земля встала на дыбы — с буро-зеленым лесом, с безымянной деревенькой, с трактором, что оранжевой букашкой полз вниз по вельветовому полю; сбавил обороты: пятьсот метров были уже набраны; нашел пруд, впереди и слева, на который нужно выйти... Все хорошо получалось у Левки.

— Посмотри вправо! — раздался голос комэска.

Справа багрово лоснилось брюхо самолета, все в темных масляных пятнах. Левка резко убрал обороты, уменьшил крен, пытаясь затянуть разворот («подрезать» круг нельзя!), и не заметил, как упала скорость, где-то «провалился» на целых семьдесят метров. Хватался исправлять одни ошибки — возникали другие...

К полосе Левка подходил на «подтягивании»: самолет чуть было не зацепил колесами верхушки тополей, что растут у малого привода, в километре от аэродрома. Сел с парашютированием, «по-вороньи», да еще снесло ветром у самой земли на левый край полосы, — чуть красно-белые «матрасы» не подавил.

— Запрашивай «конвейер», — сказал комэск, как только колеса зашуршали по бетонке.

— Три — девяносто третьему взлет с «конвейера»!

— Три — девяносто третий, — взлетайте, — подчеркнуто вежливым тоном разрешил Волков: в последний раз, дескать.

Левка дал полный газ и с отчаянием поднял носовое колесо... Ах, как ему захотелось сейчас забиться куда-нибудь, упасть в траву и поплакать. Пропади все пропадом! Ну почему, почему он такой? У других все получается... Вон Санька Селиванов по маршруту пошел:

— Три — шестьдесят первый прошел первый поворотный... курс...

Санька по маршруту пошел, а ему — «хвосты заносить». Отлетался. Последний полет — и «дембель»...

Когда самолет оторвался, из задней кабины раздался приглушенный стон; потом — еще, уже громче... Стонал комэск; глаза как пуговки, лицо красное, искаженное.

— Печень прихватило... а-а... Не отвлекайся!..

— Товарищ командир!..

— Продолжай полет... а-а... Давай, Левка... а-а... на тебя вся надежда...

«Что же делать? Вдруг — сознание теряет... Или — еще хуже... Доложить Волкову? А чем он поможет? Не на земле ведь. Только крик поднимет. Нет, нет... А что же? Выход один — скорее на посадку. Скорее! На тебя все надежда!» — прошептал Левка, и губы самопроизвольно растянулись в улыбке, но он тут же согнал ее: человеку больно, а он!..

Как набрал высоту, как вывел самолет из разворота и положил на обратный курс, Левка не заметил — руки делали нужное сами собой, почти автоматически и совсем без ошибок; высота была метр в метр, скорость — ровно пятьсот, под носом туск-

ло отливал ртутью пруд — место третьего разворота, — будто косой осколок стекла среди травы; пар, что тяжело клубился над прудом, был какого-то серо-зелено-алого цвета, как сырой дым с робкими языками пламени внутри его. Весь мир затопляло жидко разведенными красными чернилами; в низинах, куда медленно стекала прозрачно-розовая дымка, она сгущалась в рдяно-сизую массу, похожую на земляничное варенье со сливками; а по лесу, что казался сверху бурым мхом (как на гигантском макете), стлался ватно-белый туман, и деревья купались в нем, зайдя по самые плечи.

Странно, второй месяц летает Левка над этими местами, а почудилось, что впервые все видит... А теперь, похоже, и в последний раз.

Литвинов вновь громко застонал... Запрокинувшись, хватал он перекошенным ртом воздух, рукой с побелевшими суставами судорожно уцепился за красный поручень катапультного кресла.

— Чуть-чуть... пять минут потерпите, командир. Все будет хорошо, сейчас сядем, — с надрывом крикнул Левка, резко переводя кран выпуска закрылков.

Закрылки выдвинулись с чмоканьем. Самолет клюнул носом — Левка плавно подпернул его ручкой. Скорость стала ощущимо падать, как будто машина влетела в иную, густую и вязкую, среду. Самолет стремился опустить нос, казалось, что на ручке управления висит какой-то груз, — приходилось подтягивать и подтягивать, а чтобы не «сыпаться» — понемножку поддавать и поддавать обороты.

— Сейчас... сейчас сядем, Борис Васильевич, — бормотал Левка, впервые называя Литвинова по имени-отчеству (все равно теперь почти уже гражданский). — Все будет хорошо... Сейчас... еще немного... — скорее для себя бормотал Левка, выводя самолет из разворота так, чтобы клетчатая серая полоса легла на лобовое стекло.

Плывет, надвигается, растет, вспухая, выворачиваясь пупом, то место, где лежит на траве белое полотнище, «место начала выравнивания», — туда скользит с воздушной горы Левка. И вот уже она — выгоревшая парусина... Пора! Обороты прибрать, руч-

ку на себя... Мало! Еще на себя, еще... Черт, ветер сносит! А мы — педалькой! Педалькой! Ага, как уютно идет, ровно! Еще подобрать ручку... плавнее... плавнее... Замелькали плиты, исчерканные полосками стершейся резины. Еще чуть-чуть подобрать... Все, задержать на секунду... Сели!

Колеса шаркнули по шершавому бетону раз, другой и зашуршали... Левка улыбнулся, вздохнул облегченно и счастливо, но, вспомнив о Литвинове, вновь покори́л себя: ну что за эгоист! Изо всей силы зажал тормоза. Колодки басовито заскрипели, самолет, задрвав хвост, навалился на переднее колесо, влипая в бетонку, но скорость падала слабо. Резко свернув на ближнюю рулежку, Левка понесся к санитарной машине.

— Куда разогнался? На пожар, что ли?

Левка обалдело повернулся. В глазах Литвинова плясали рыжие чертики; он широко улыбался, так, что видны были белые металлические пломбы в коренных зубах.

— Вперед смотри, задавишь кого-нибудь! Отвечай потом за тебя, — ворчливо добавил комэск. — И тормозни у заправки — выйду.

— А... а я? А мне — что?

— Как — что? У тебя еще два полета по плану. Самостоятельных!

Литвинов снял шлемофон, вытер шею влажным подшлемником. Тянул слабый ветерок, унося обрывки утренней дымки, ставшей совсем бесцветной и тонкой, как целлофан. Ветерок приятно холодил, но уже чувствовалось по каким-то непонятным, неясным признакам приближение зноя. Смола на стыках бетонных плит жирно лоснилась и липла к подошвам. В одном месте, прямо посреди рулежки, распушился, проломив гудронный панцирь, светло-желтый одуванчик. Литвинов остановился. Наклонился. Присел.

— Ух, ты какой! И как же тебя угораздило здесь вырасти, дурашка?

Цветок безмятежно, ничего вокруг себя не желая замечать,

купался в лучах ласкового солнца, довольный жизнью. Ничегошеньки-то он в ней не понимал!..

— Странно, не раздавили и не сожгли... Счастливчик.— Литвинов дунул — и полетело, понеслось на пушистых, прозрачных парашютиках, раскачиваясь, как в колыбелях, многочисленное одуванчиково племя.

— Вот тебе и новый вид: одуванчик аэродромный! Как это по латыни?..

Литвинов улыбался, и улыбалось в ответ солнце, и ветер растопыренной холодной пятерней по-детски ерошил его волосы, побитые пятнами седины, и ревели, сотрясая расширяющийся зной, двигатели, и жестяно гремел громкоговоритель, и, заглушая все, пел в бездне неба, где-то рядом с солнцем, жаворонок...

— Уменьши скорости! Ручку подбери — носом ткнешься. Еще! — неслось из раструба громкоговорителя.

— Три — шестьдесят первый второй поворотный прошел... курс...

— Подожди, шестьдесят первый, не до тебя... Подтяни! Еще! Прибавь оборотов!

— Три — шестьдесят первый второй поворотный...

— Отстань, говорю, шестьдесят первый! Убирай обороты! Задержи ручку! Сел. Как ворона... Ну что там у тебя, шестьдесят первый? — только быстро!

«Волков в своем репертуаре», — подумал Литвинов, следя за Левкой — как он медленно и осторожно, будто крадучись, приближается к взлетной полосе, — сейчас вырулит, взлетит... И отчего-то нехорошо, тягостно сделалось, и показалось, день замутился...

Поднявшись из травы, Литвинов спорым шагом направился в компрессорную, где был телефон. Оглянулся: Левка уже подъехал к полосе, стоял, ожидая, верно, разрешения занять ее. Скорее! Скорее! Литвинов неуклюже побежал. Схватил теплую скользкую трубку.

— Руководителя полетов! Говорит ноль — первый. Сейчас

полетит девяносто третий... Да, самостоятельно. Да, выпустил. Да, по своей методе! Ты ему ничего не подсказывай. А вот так — другим можно, а ему нельзя. Да, особенный он. Пусть делает что хочет, я отвечаю. Ничего! Слышишь, Витька, ничего — в этом вся штука!

Через полчаса Левка зарулил на стоянку. Долго не вылезал из кабины; руки-ноги тряслись, комбинезон прилип к спине, губы стали солеными от пота. Левка сидел на жестком сиденье и слушал музыку, что жила в нем сейчас, и впервые видел — непонятным образом — собственные глаза, сверкающие, пьяные, с темными провалами зрачков, — и это было удивительно...

— Ну как? — улыбнулся комэск, подходя.

— Кажется, мир смогу перевернуть.

— Знаю-знаю... Ты вот что, Лев Николаевич, про то, что у нас было, не болтай. Ну, про болезнь мою... и вообще. Честное слово, узнаю — уши оборву, — и улыбнулся мягко: — Ладно, летай... Ох, беда мне с вами, с одуванчиками!

Левка улыбался во весь рот и не знал, что он был уже пятый, кому Литвинов обещал «оборвать уши»; не знал, что двое из этих пяти имеют боевые ордена...

— Интересно, что у него на этот раз прихватило? — восхищенно произнес техник, глядя вслед Литвинову. — В прошлый раз была, кажись, селезенка. Да, вот тебе и метода — «прихват-перехват»!

ПОТОМУ И ПЛАЧУ...

Светлой памяти прадеда Максима

Стараясь не задеть обо что-нибудь сумкой, я вошел в автобус и сел на свободное место у окна. Металлические двери, лязгнув, сомкнулись рыбьими губами. Слышно было, как под полом заскрежетало сцепление, машина слегка дернулась, а потом мягко покатилась.

Проплыли, уходя назад и в прошлое, мужик, косивший на обочине траву, одинокий мальчик, в розовой, пузырьрем, рубахе, стерегущий гусей...

* * *

Помню утро.

На тачке-двуколке, запряженной смирным сереньким меринком по кличке Серега, мы с дедом Максимом выезжаем из хутора. Пахнет лошадьё, пылью, прибитой росой, с огородов — тонко, еле слышно — молодым укропом и огуречными завязями. В крайнем, шкурихином, дворе на нас сонно ворчит пес, силится гавкнуть, но, видя, что мы проезжаем мимо, зевает, потягиваясь, чешет лапой за ухом и прячется в остывающую конуру.

Едем мы прямо на багровое солнце, которое за дальним, безымянным курганом, за лесом, не видным сейчас, лежит в сонной неге бесформенной грудой — совсем как угли у отца в кузне; кажется, стоит качнуть мехи, — пробегут голубые языки, — и груда проснется, ослепительно вспыхнув.

Тачка на резиновых шинах, с тарантасными рессорами,— одна такая у нас в хуторе, моего крестного — «кума Саника». Едем ходко. Мерин рысит по холодку без лени, но дед покривает:

— Но-о, Серега, съел кобеля сырого!

Голос его, по-молодому еще звонкий, гулко разносится вдоль балки и долго перекатывается эхом.

Мне смешно. Я представляю, как этот клещеногий, облезлый в пахах мерин гоняется за нашим Тузиком; пес увертывается, скалит зубы и злобно рычит,— съешь такого.

Все в мире еще спит. В низинах — туман, травы, согнутые росой,— сейчас только косить,— ветер, запутавшись в кудрях лозин, еще шевелит своим дыханием листья; не слышно ни птиц, ни кузнечиков.

«Где же ночуют кузнечики? — думаю я.— Птички в гнездах, это ясно, а кузнечики?»

И представляется мне зеленый травяной домик. Через открытое окошко вижу кроватку, в которой сладко посапывает зинзивер («Елки-палки, совсем как человек!»), у окна — стол, на нем — кувшин с холодной росой...

— Гляди, гляди — зайцы!

Я очнулся от полусна-полудремы — мы ехали уже вдоль леса,— от нас резвыми мячиками скакали по поляне желтенькие зайчата. Меня будто ветром сдуло.

— Навпереймы! Не давай им в лес уйти!

У зайчат коротенькие, совсем не заячьи ушки, большие, даже огромные — по сравнению с телом — головы. Но это настоящие зайцы, веселые, прыгучие, и они не очень-то меня боялись — шныряли в ногах, будто дразнили. Дед кричал мне, кричал, потом,— наверное, разобрал азарт,— слез с тачки, смешно раскочивив ноги, тоже стал ловить. Мы долго гонялись за зайчатами, но так и не поймали...

Солнце висело в дубовой кроне — сучья казались прожилками, а листья приняли какой-то фантастический, фиолетово-золотистый цвет. Поляны большей частью уже выкошены нетерпели-

выми косарями, волглые травы лежали причудливыми, косыми рядами, и пахло от них увядающей земляникой, горьковатым соком конского щавеля, шибаящим в нос купырем. Где-то поблизости таинственно укал голубь-вахирь. В ярушке, в зарослях ольшаника заходилась в песне соловушка.

С опушки показались рассыпанные веером домики Краснолипья. Крыши почти на всех из красной, самодельной черепицы. Кое-где меж дворами стлался легкий туман; он медленно, цепляясь за плетни и заборы, перетекал в низину... Орали петухи.

Но вот гонят стадо. Хозяйки покрикивают, собаки захлебываются лаем — каждая у своих ворот, — пастухи, сонно поругиваясь и на собак, и на хозяек, лениво хлопают кнутами. Коровы, перемесив остатки тумана, уносят его на своих ногах в балку.

— В старину, говорят, тут хутор был. Дворов пять, может, чуток поболее. На отшибе пасечник жил — Илюха Колядин. И — кто его знает — ради пчел или так... для души — липы сажал.

Мы уже ехали по Краснолипью. Я вертел головой, искал: где же липы?

— Много... много было. Целая роща. Бывало, об эту пору въезжаешь — они в цвету, — как в райский сад... В войну на топку порубили.

— Лес же рядом!

— Строго было с лесом...

— И ни одной не осталось?

— Да кое-где... У бабки Нюры — увидишь.

Еще от крайних дворов за нами увязалась целая свора собак. Таких огромных и страшных псов я никогда не видел. По мере нашего продвижения одни собаки, проводив от хозяйского дома, отставали, другие занимали их место. Так мы и ехали по селу — сопровождаемые разноголосым лаем.

Остановились у скособоченной хатенки с подслеповатыми окошками, но под красной, тяжелой черепицей. Собаки погавка-

ли для порядка и разбежались. С огорода, переваливаясь,ковыляла к нам согбенная старушка. Я угадал бабку Нюру, отцову тетку,— она у нас гостила как-то, с год назад.

«А где же липа?»

— Здорово ночевала, Ивановна!

— Здорово, здорово, сват! О-о, и унучек приехал!

Бабка подошла к палисаднику, остановилась, и тут я увидел рядом с ней, в картофельной ботве, огромный, щелястый пенёк.

— Поздравствуйся,— подтолкнул меня дед.

— Здравсте, баб Нюр! А зачем вы липу спилили?

— Э-э, нашел об чем горевать. Свет нам зимой проводили, а она, стал быть, мешала.

— Можно было сучья обрубить,— вставил дед.

— Кому обрубать-то?.. Спилить легче.— Она пожевала темными, морщинистыми губами, спросила: — Сселять вас с хутора пока не думают? Слух идет — он у вас теперь неперспективным значится.

— Пусть делают что хотят — я никуда с него не пойду,— зло ответил дед.

— Да-а, куды все катится? Хотят вроде как лучше... а всё через пенёк-колоду... Завтракать-то будете?

— Поели бы, да некогда. Ехать уже пора.

— А куды едете-то?

— В Оськино за горшками.

— Так на что ж они нужны-то? В такую дали! В магазине и банки есть, и чугушки...

А я ходил вокруг пня, свежего, еще живого, выбросившего клейкие побеги,— ходил и представлял, каким высоким и, должно быть, красивым было дерево. От пня струился медовый запах, кое-где по трещинам сочился густой сок, пчелы, рыжие, золотистые, темно-серые, собирали его, а в стороне, не решаясь приблизиться, вились злобные полосатые осы.

На прощание бабка Нюра дала мне старый, каменно-твердый пряник, от которого пахло мылом; я сосредоточенно и долго его грыз.

— Надо было остаться перекусить,— вздохнул дед, доставая припасенную бутылку молока.

Я сгрыз пряник, напился молока, и только тогда заметил, что Краснолипье уже скрылось, а впереди — другое село. С белой церковью, с белыми домами; даже сараи в этом селе и те белые.

Стояло необычное село на пригорке, вокруг — равнина, зеленое с голубым, сливаясь вдалеке, сгущалось в темную полосу окоема. Над золотым церковным куполом сгущались ватные горы с розоватыми от не полного еще солнца боками, купы изумрудных деревьев ярко выделялись на фоне белых построек. И все казалось нарисованным — так свежи и неправдоподобно сочны были краски. Извиваясь, к селу тянулась мучнистая дорога, обочь ее — сизые от пыли, молодые, чуть не брызжущие терпким соком хлеба. Было томительное безветрие, и за нами долго стояли, медленно клубясь, две полосы потревоженного праха...

— Новосолдатка! — сказал дед. — Тут я родился.

«Как странно! — подумалось мне тогда. — Дед Максим (вообще-то правильно — прадед) старше всех в нашем хуторе, ему уже восемьдесят с гаком, но и он когда-то был маленьким. Наверное, как и мы, играл в войну, в прятки... Неужели и я со временем стану седым и сгорбленным? Может, даже буду везти куда-нибудь своего внука... Как странно!»

— А почему все из мела! Даже заборы? — спросил, когда подъехали близко, и я рассмотрел крайний двор.

— Кто его знает... Солдаты основали, они на выдумку горазды. Недаром же говорится: солдат и черта обхитрит. Лес денег стоит, а мела за селом — горы...

Меловых домов — мелавок — в Новосолдатке было очень много. Редко где увидишь деревянные, а то все — зеленоватые от мха меловые стены. Крыты дома в основном дранью; много, впрочем, и под краснолипьевской черепицей.

— Дед, а тут к кому будем заезжать?

— К Марусе.

— А кто она?

Дед что-то ответил, я не разобрал, что. Лишь потом, много лет спустя, узнал, что у деда Максима, то бишь у прадеда, было два сына: Андрей, отец моего отца — мой настоящий дед! — и Семен. Бабка Маруся — жена Семена, умершего в двадцать лет от тифа...

Дом бабки Маруси — старая мелавка — оказался чистеньким, опрятным. Сама бабка — веселой и толстой.

Она без умолку говорила, пока мы хлебали щи; меня очень сместило, как она называла деда — «тятей». Потом — или выговорившись, или еще почему, — бабка Маруся вдруг сникла. Погладила меня по голове, вздохнула:

— Как время бежит, а? Вроде недавно папашка его — Ваня без штанишков бегал, а уже сын — гля какой. Охо-хо-шеньки...

Из шкафчика, источенного шашелем, достала четвертинку, налила себе с дедом по стопке, «помянули Сеню». После водки бабка раскраснелась, сняла платок; дед посуровел, чапаевские усы его поникли.

— Давай споем, тять. Ту, что Сеня любил, — помнишь?

— Как же...

— Ты полынушка, полынка, — тоненько завела бабка Маруся.

— Полынь, трава го-орькая, — подхватил дед; я знал эту песню, тоже стал подпевать.

— Не сама ли ты, злодейка,

Травка, уродилася,

По зеленому лужочку,

Травка, расселилася...

Бабка выводила, закрыв глаза, застыв как на молитве; теорясь в морщинах, на дряблых щеках блестели дорожки.

— Что же вы плачете, бабушка? — перебил я песню.—

Мы к вам в гости приехали, так хорошо сидим, поем, а вы плачете.

— Потому и плачу, деточка, потому и плачу, ангел ты мой светлый...

Потом я лежал на мягкой бабкиной постели, пахнувшей камфорной растиркой и какими-то травами,— от стены тянуло прохладой,— лежал и слушал, о чем говорят старые.

— Как твои сыновья?

Сыновья у бабки Маруси от второго мужа, от Тихона, погибшего на войне.

— Грех жаловаться. Работящие, не пьют.

— Ну и слава богу. По нынешней жизни — это главное.

— Младший, Коля, к себе зовет. Дом построил. На том месте, где Антон Блоха жил.

— А что Блоха? Разве умер?

— Куды умер! Если б умер! Жил не как люди и... застрелился, окаянный, прости его господи! Охо-хо-шеньки, страсть-то какая. Голова у него разболелась. Болит день, два, три — ничто не помогает. Озлился он — не любил ведь, когда что-нибудь не поддается,— ну и «полечил».

— Жаль. Какой мастер был! В чем хошь разбирался. Даже швейцарские часы чинил... Помнишь, какие я с германской принес?

— Как же! За мешок проса потом сменяли — помню, тятя...

Проснулся от духоты. Вместо перины почувствовал под собой сено; все тело в поту, одежда липнет. Открыл глаза и ослеп. Солнце кололо острыми пучками игл даже сквозь смеженные веки. Отвернувшись, посмотрел: где же мы стоим?

Мерин осторожно щипал сочную, жесткую, луговую траву. Дед, опустив в воду ноги, сидел на берегу речки.

Речка! Заросшая камышом и кугой, в зеленых блинах кувшинок, с рогозом и осокой,— речка! В нашем хуторе был только

пруд, в котором водились затравленные утками лягушки да худосочные караси; всякую растительность — если она появлялась — съедали или затаптывали коровы, пившие из пруда воду. Речку я видел первый раз в жизни. Я кинулся в камыши, я носился по ним как угорелый. Речка! Как пахнет! Горько — кугой, терпко — тиной, нежно-сладко — пылью осота. А какие стрекозы! Глаза — как фонари! А там что? Ах, да это же утка с выводком! Быстро перебирая лапками, утята, комочки пуха, переплыли струю и проворно спрятались на том берегу. Речка! Настоящая речка!

Набегавшись, я подошел к деду.

— Как называется эта речка?

— Красная Девица.

— О, какое!.. А я знаю, почему такое название. Потому что красивая, да?

— Да, поэтому... Ну что, поедем?

— Может, еще побудем?

— Нет, пора.

— Ну де-ед!

— Что как маленький. На обратном пути остановимся.

— Ага, «остановимся»... Хоть бы разбудил пораньше.

Я надулся, отошел в сторону. Дед, вытерев ноги о траву, обул сандалии, умылся. Умываясь, вымочил рубаху и не заметил этого. Долго, с удовольствием, утирал лицо пожелтевшим рушником с выцветшими райскими птицами. Откуда такой? — подивился я. Дома ни разу не видел.

Дед взглянул на меня через плечо раз-другой, похлопал по спине:

— Ну искупнись, только побыстрее, я подожду.

И мир между нами был восстановлен.

Вода в речке оказалась холодная и мягкая, совсем как колодезная, только с горьковатым привкусом тины и осоки. Не то что в нашем пруду, где она вечно мутная и пахнет какими-то помоями. Я переплыл речку несколько раз туда и обратно, замерз и, ухая и прыгая на одной ножке, вылез на берег. Обтираясь де-

довым рушником, пахнущим сундуком, нафталином и еще чем-то тревожно-загадочным, опять подумал: откуда такой!

— Вера вышивала... Шутка сказать — почти семьдесят лет назад.

Бабка Вера, дедова жена, умерла после войны, отец мой и тот ее почти не помнит.

— Вон там она жила. Еще когда в девках...

По тому берегу, по бугру, громоздясь один над другим, топорщили камышовые крыши приземистые саманные дома.

— А что это за село?

— Россошки. Тут она и жила, — повторил дед, вздохнув. — Ну, поехали...

Дорога поднималась в гору. Мы с дедом шли пешком. Я — сам по себе, дед — держась за тачку; правда, он делал вид, что не держится, а помогает мерину. У Сереги под толстой шкурой будто веревки натянулись, круп лоснился от пота.

— А почему это село Россошками называется?

Дед остановил мерина, отдышался.

— Переселенцы из-под Россоши тут живут. Россошь — город, и в старину им уже был... А это — выселки. Потому и Россошки.

— А Россошь — как это понять?..

— Кто ж его знает, — смущенно, после некоторого молчания, пробормотал дед. — Вот вырастешь, читать как следует выучишься, обо всем в книгах прочтешь, — а книги есть интересные! Тогда и мне скажешь...

Чем выше всходили, тем шире раскрывалась земля... Вот уже видна белая Новосолдатка, за ее околицей — меловые выветренные овраги, зачервонели крыши Краснолипия, чернеет лес, который проезжали утром. А если смотреть в другую сторону — там все тянулось, тянулось вдоль речки село Россошки, потом какие-то хутора, опять село, уже другое, — и все терялось в дымке, в белесых испарениях. За дымкой — я знал — речка моей прабабки сливалась с другой, у которой название чудное и загадочное, — Потудань.

О, как далеко мы заехали!..

Дед опять остановился, посмотрел окрест, погладил меня по макушке.

— Видишь, какая она, кормилица наша...

Сердчишко мое затрепетало от восторга и гордости, подкаатило к нему что-то теплое, и я звонко крикнул:

— Вижу-у!

На горе, на самом взлобке, торчали из земли старые кирпичи, железяки, изъеденные ржой, валялся у дороги ровный, круглый камень. Такие камни я уже видел.

— А я знаю, что это такое, дед. Это жернов?

— Да. Тут когда-то ветряк стоял.

— В старину?

— В старину.

— Расскажи про старину.

Дед остановил мерина, кряхтя, взгромоздился на тачку, я залез следом.

— Говоришь — про старину? Когда ездили на стригуну?..

И, дернув вожжи, дед начинает. Сперва про мельницу, про ее хозяина — Савву Никитича (покопавшись в перепутанных нитях родства, он неожиданно даже для самого себя устанавливает, что мельник-живоглот доводится через мать мне какой-то родней), незаметно переходит на империалистическую, потом на гражданскую войну... Рассказывает, как организовывалась в нашем хуторе коммуна, потом колхоз; как через дверь стрелял кулак Ту-журка...

Деду было что рассказать. Но по младости — половину, а то и больше — я пропустил мимо ушей. Интересовало другое: можно ли шашкой перерубить человека, на сколько километров летит винтовочная пуля, как изготовлялся обрез? Я то и дело перебывал деда подобными вопросами, он терпеливо объяснял и... продолжал.

И до сих пор мне не совсем понятно, зачем он продолжал...

Оськино — богатое село.

Дома в этом селе большие, старые, на совесть и похвальбу сделанные, под шифером или железом, есть и под цинком. Перед каждым двором настоящая мостовая из расколотых горшков. Оськино — село гончаров, и название свое ведет от первого мастера — Осипа, Оськи.

В центре села, у колодца, дед обратился к молодой, набиравшей воду:

— У кого бы нам посуды купить, дочка?

— А какую вам надо? Наливную, накладную или украшательную?

— Дык... не знаю. Кувшины, да пару-тройку горшков для щей... А как это называется...— дед пожал плечами.

— Тогда пойдемте. Мужики как раз обжигают.

Женщина, подхватив ведра на коромысло, широко и споро зашагала впереди лошади.

— У нас хорошая посуда, сам свекор крутит. А он старой закваски, на совесть делает, без всяких нынешних финтифлюшек. Спасибо скажете не раз.

Она проводила нас до своего дома, завела во двор. Там под дощатым навесом гудела печь огромных размеров, невиданной формы. Из черного, прокопченного жерла лоснящийся, широкоплечий мужик выхватывал специальными клещами огненные, почти прозрачные от жара кувшины, и ставил на землю. Земля под ними трещала и дымилась. На легком сквознячке кринки быстро остывали — краснели, потом на боках у них появлялись фиолетовые пятна, которые быстро расплзались, увеличиваясь, — и в тот момент, когда пятна покрывали весь сосуд, другой гончар, старик с растрепанной бородой и воспаленными от дыма глазами, мазал внутри каким-то раствором. Валил чад, густой и едкий, воняющий дегтем.

Освободив печь, молодой натаскал из сарая новую партию необожженной посуды, старый искусно переложил кринки сухими яблоневыми чурками. Дрова вспыхнули от уснувших было углей, по кувшинам заплясал веселый огонь, и печь вновь загудела.

Что-то магическое, волшебное было в действиях мастеров, каждое их движение казалось наполненным — а оно так и было! — каким-то особым, тайным и чудесным смыслом. И стало даже немного удивительно, что такие люди говорят на простом русском языке, — у них и язык, казалось, должен быть свой, особенный, никому, кроме посвященных, не понятный.

— Гляньте, мальчонка смотрит — аж рот открыл! — засмеялась женщина.

И я очнулся...

— Что, делать больше нечего? Поросятка покорми! — прикрикнул на сноху старый мастер, а мне заглянул в глаза, подмигнул и подарил глиняную свистульку.

Потом мы грузили посуду, еще горячую, и старый гончар сел:

— Брезговать стал народ нашим ремеслом. Подавай заграничный фаянс. А что хорошего в нем? Одно только что немецкий...

— Твое ремесло не умрет — вот сын-то перенял, — сказал дед.

— Сын-то перенял, да что толку. Машину им загорелось. А внучка нет. — Он грустно взъерошил мне волосы. — Не хотят...

Я лежал на сене — бок грели остывающие кувшины, — лежал, смотрел в белесое, словно застиранное небо, где парил одинокий коршун. Дул в подаренную свистульку и ломал голову: как же птице удастся держаться в воздухе — ведь чтоб лететь, надо махать крыльями! А коршун, задернув веками глаза, дремал в горячем струящемся мареве, забыв, что голоден и что в гнезде ждут ненасытные птенцы... Когда переставал свистеть, слышал, как трещит в пыльной придорожной траве хор кузнечиков, опьяненный от жары, от избытка жизненных сил. Дед вполголоса поругивал Серегу: дескать, ленив ты, братец, домой поторопиться не хочешь. Понимал его мерин или нет — неизвестно, только хода не прибавлял, все так же трусил, поекивая селезенкой.

Крепко пахло лошадиным потом, от кринок — тонко, ненавязчиво — жженой глиной, горьковатым яблоневым дымом, с поля тянуло терпким гречишным цветом.

Впечатлений за день было столько... За всю семилетнюю жизнь, наверное, столько не узнал и не увидел. Я очень устал и сделался от этого ко всему безразличен. Меня даже спуск не увлек. А это был трудный спуск: тачка набегала на Серегу, Серега упирался изо всех сил, хомут висел у него почти на ушах. Дед слез и помогал мерину, а я продолжал смотреть в небо и бездумно свистеть. Потом ехали по мосту через речку.

— Нарвем камыша?

— А ну его,— вяло отмахнулся я. А как потом жалел!..

Дальнейшее помню и вовсе разрозненными кусками: ехали вдоль каких-то лесопосадок, нас то и дело обгоняли большие машины, осталась в памяти чья-то собака с высунутым языком, потом меня куда-то переносили, раздевали...

Проснулся в своей кроватке. Было еще очень рано — за окном багрово,— дед спал, выставив острую бородку, отец громко и храпел, но мать уже возилась на кухне с посудой.

Я припомнил нашу с дедом поездку, и почему-то показалось, что все это мне просто приснилось. Как был — без штанов — побежал узнать: ездили мы или нет. Мать цедила молоко. В новые кринки! Значит, ездили,— вздохнул облегченно и провел пальцем по шершавому, теплomu боку кувшина.

— Пить хочешь?

— Ага.

Пил молоко, парное, душистое, и думал, что я теперь самый счастливый и богатый из всех хуторских мальчишек: у меня есть ТОТ, незабываемый день.

* * *

Вышел на автовокзале. Долго ехал, пересаживаясь из трамвая в троллебуйс, из троллейбуса снова в трамвай. Сумку держал на коленях. Но вот и улица, моим сыновьям родная, три девятиэтажных дома, за ними, во дворе, мой, пятиэтажный.

— Смотри, что от матери привез,— с порога сказал жене.— Помнишь, рассказывал, как с дедом за кувшинами ездили... Последний!

Жена взяла у меня из рук сумку, расстегнула.

Среди прочего, что я вез, валялись черные глиняные черепки.

На кухне стучала вода, капавшая из крана...

В НОЧЬ, КОГДА ГРЕЮТ ПОКОЙНИКАМ ПЯТКИ

Холодной зимней ночью из бумажного мешка ты выдернул пук негнушейся, колкой соломы, похожей на итальянские макароны, сложил ее шалашиком и поджег. Ветер не дал разгореться огню, он сорвал крохотное тельце пламени с трех-четырех занявшихся соломин и быстро стал припудривать снежной пылью. Ты оторвал от мешка клоч жестяно гремящей бумаги, помял ее. Подложив измочаленную бумагу под солому, поджег опять...

Пламя катилось по снегу клубками; летели, чертя красные гнутые линии, мгновение живущие искры; огонь лизал снег, как сахар, и, как сахар, снег темнел и таял. Кругом стояли девяти- и двенадцатизэтажные стеклобетонные громады и, равнодушные, стоглазо смотрели на тебя... А ты плясал от холода у стелющегося костра и втайне надеялся, что, быть может, к кому-нибудь придет все-таки вопрос: чего это там делает мужик, зачем палит солому?

* * *

...Первое, что ты помнишь,— ясный зимний день. На розовых стеклах — голубо искрящийся сказочный лес; хата жарко натоплена, бабка Оля веселкой взбивает пыхтящее в деже тесто, дед Максим распарил в печи липовое полено, дерет с него лыко — оно липкое, и горьковато пахнет печеной картошкой,— но все заглушает обволакивающий дух земляничного мыла... И тебе, сидящему в корыте, в теплой пузыристой воде, так хочется запихнуть в рот этот пахнувший летом, знойными полянами розовый брусочек, которым мать натирает тебе руки, ноги, спину.

Она тебя намывает и говорит скороговоркой, вполупшепот, впридых:

— Сколько родинок у тебя, сынок! Боженька тебя отметил. Счастливым будешь, удачливым... Недаром на Медовый Спас родился...— и легонько кусает тебя за мокрое ухо. Ты вжимаешь голову в плечи, смеешься, захлебываясь от восторга, и веришь, что будешь счастливым и удачливым, и веруешь, что боженька тебя отметил,— ведь это ж мать сказала!

Еще ты помнишь пару голубят, совсем птенцов, только-только оперившихся. Их подарил тебе дед Илюха, материн отец. Летать птенцы не умели — переваливаясь, враскорячку, они ходили по полу, растопырив для равновесия коротышки крылышки с мягкими, будто сырыми перьями, рассеяннo клевали что-то с пола восковыми клювами и то и дело опускались на голые сизовато-багровые животы. Они совсем не были похожи на голубей, скорее на цыплят, то ли больных, то ли мокрых... Ты долго наблюдал за ними, и тебе подумалось, что голубята, верно, голодные, раз клюют с пола чего зря, и что надо накопать им червей — помнил, с какой жадностью хватали червей куры, и потому решил, что и для голубей они тоже лакомство. Спрятав гулюшек в ящик стола, ты выбежал из хаты, но на дворе, где плавилось солнце, зелено пылил чертополох, где гудели пчелы и ласточки-касатки кроили выгоревше-синий сатин неба, представил, как душно, темно и скучно птенцам в тесном задвинутом ящике... И, вернувшись, ты приоткрыл его.

А полчаса спустя ты вбежишь с детским помятым ведерком и с настоящей немецкой саперной лопаткой, острой и от земли совсем не тупящейся. Ты вбежишь, запыхавшийся, и остановишься в ошалелом изумлении: на полу валяются прозрачно-сизые перышки, а кот с ворчанием доедает второго голубенка... Ты отбросишь ведерко с колтуном червяков на дне и, ухватив черенок лопаты двумя руками, расставив ноги, замахнешься на кота. Ты будешь целить в голову, в широкий наглый лоб с продольной рыжей полосой, тебе до какой-то жгуче-сладкой радости захочется расколоть его, ты возжелаешь смерти и только смерти этому прожорливому, не помнящему добра бродяге,— и потому

рубить ты будешь расчетливо и наверняка, в мгновение вспомнив, как отец забивал корову — так же расставив ноги и ухватив топор двумя руками, — ты даже хакнешь и присядешь в момент удара, чтобы удар был сильнее и с оттяжкой... Но в последний миг кот отпрыгнет, и ты отсечешь ему лишь кончик хвоста, который, отскочив, сам собой зашевелится как живой. А кот, взревев, шмыганет из хаты, и на выскобленных досках пола, на белеющей стене, на лопатке и ведерке, на твоих босых ногах — густо зачернеют кровавые брызги...

Потом ты будешь сидеть на полу, бессознательно обтирать — нога об ногу — липкую кровь, и тебя будет трясти... Было жаль голубят, жаль кота, голосащего во дворе визгливым фальцетом, — и было страшно. Страшно шевелящегося обрубка, страшно вязкой крови, страшно непонятной дрожи, что не переставала колотить тебя; но больше всего — страшно того неведомого мира, из которого только что накатило что-то темное, необъятно-громадное, ужасное в своей непонятности, и откуда пахло на тебя гулкой черной бездной...

* * *

Свет в домах начал гаснуть. Он начал гаснуть во многих окнах разом, словно по команде, и ты догадался: то кончилась телепрограмма. Минут через пять почти все окна в нависших над тобой серых громадах холодно зеленели; освещенных осталось совсем мало, хоть по пальцам считай.

Твой костер разгорелся. Зола опустилась в подтаявший снег. Огонь теперь был в темной ямке, и ветер его больше не беспокоил, лишь завивал рыжий чуб... Похлопывая руками в тонких перчатках, у твоего подъезда долго ходил, нервно оглядываясь, сутуловатый парнишка в серой кроличьей шапке. Он уже примелькался: месяц, наверное, караулит очкастенькую десятиклассницу из сорок пятой квартиры... Подошел, попросил закурить; рассеянно погрел ноги над костром. Ты думал, останется, постоит с тобой, спросит, зачем костер... Нет, не спросил и не остался.

Иссосал сигарету занемевшими губами и ушел. Завтра опять, наверное, придет. Упорный. Только упорство его ему же, похоже, выйдет боком: очкастенькая, по которой он сохнет, ни разу ни с кем не поздоровалась в подъезде — самомнение у нее, даже для нашего века, мягко скажем, великовато...

Несколько раз прошелся мимо тебя бодрый прямой гражданин в бобриковом «пирожке», что из тринадцатого дома. Он всегда — ты заметил, — в любую погоду, совершает моцион перед сном. Он прошелся несколько раз туда-сюда, строго поглядывая над отвернутым воротником острыми, прищуренными глазами... Но вот и он ушел. И погасли еще три окна... Нет, одно загорелось, угловое, на первом этаже. Там живет ваш новый участковый, совсем молодой парень, только что из школы милиции, — беспокоят, бедного, и по ночам — кражи, наверное, ограбления...



...Когда ты перешел в четвертый класс, начальную школу у вас на хуторе закрыли. В соседнем селе, в Стебенках, построили двухэтажную десятилетку и при ней интернат — для ребят с окрестных хуторов. В интернате ты прожил недолго. Сам воздух, пропахший казенными постелями, серо-голубая краска в гулких коридорах, столовские борщи с прогорклым томатом, от которых мучила изжога, вечно невыспавшиеся воспитательницы, даже уборные с тошнотворной хлоркой — все через несколько времени сделалось ненавистным... И однажды ты без спросу ушел домой. Тебя вызвали к директору школы; директор отругал тебя, назвал «слабаком». Обидевшись, ты опять не остался ночевать. Тебя снова вызвали и еще раз отругали, пригрозили исключить из интерната. Ты сказал, что только об этом мечтаешь, и опять ушел — теперь уже из упрямства, назло...

В конце концов на тебя махнули рукой.

Первое время ты сильно уставал — была осень, слякоть, распутица. Но с наступлением холодов, когда грязь захрясла, схватилась, а ты втянулся в ежедневную ходьбу, немного окреп,

да еще приспособился уезжать по утрам из дома с почтальоном, дедом Гололобом,— стало легче. А к зиме пятикилометровый путь и вовсе оказался привычным делом...

Вот ты не спеша идешь по накатанной до серого льда голой дороге, теряющейся вдаль,— в нахмуренных пыльных сугробах ли, в низких ли облаках, то стремительных, темных, поджаро вытягивающихся, то белых, рыхлых, клубящихся промозглым паром. Иногда там, где дорога, сливаясь, растворяется в этой зыбкой мешанине, начинает теплеть, яснеть,— и по синюшному фону медленно разливается малиново-зеленый полутон, слабенький намек на просвет... И когда это происходит, кажется, слышится мягкий, по-живому трепетный голос свирели, одинокий, озябший, и ты ждешь, что вот-вот проглянет солнышко, хоть одним глазком — о, как бы все тогда преобразилось, заиграло, ожило, и сияюще-трубный оркестр грянул бы мажорный марш! Но фиолетовые холодные массы неминуемо давят в себе робкую теплоту, и жалобно-нежное пение гложет под органной, медно-сиплой, металлической торжественностью... Завороженный, ты шагаешь и шагаешь по полевой дороге, и в тебе, как в частице этого грандиозного, живого, каждый миг меняющегося мира, звучит та же музыка, неподвластная разуму,— музыка света, полутонов и мрака, музыка тепла и стужи. И она, эта вечная гармония, рождает в твоём сердце восторг и удивление перед белым светом, перед его величием и законченностью, вселяет в тебя уверенность в том, что стоит только прийти домой, взять кисть и поставить перед собой загрунтованную картонку — и ты выплеснешь на нее все, что увидел, что услышал, что почувствовал и пережил — весь мир в беспрестанном его движении, в меняющихся красках и неслышимых для уха звуках, все-все, что тревожно-радостно, что горячо, до спазмов в горле, распирает твою грудь. И ты спешешь, все прибавляешь шагу и прибавляешь, и последний километр чуть не бежишь бегом...

И вот наконец приходишь домой, оббиваешь в промерзших, гулких сенцах валенки обтерханным веником, вваливаешься с клубами морозного пара в хату, раздеваешься, греешь у шершавой трубки тяжелые красные руки,— в хате стоит дух вынутых хле-

бов, что, прикрытые рушником, исходят нежным теплом на лавке. Ты отрываешь от ковриги горячую, ватно-мягкую горбушку, мажешь ее коровьим маслом, — масло, янтарно растекаясь, впитывается в парный мякиш, капает и маслит тебе пальцы, а ты, жадно откусывая, хлебаешь, давясь и обжигаясь, щи, давно упревшие на загнетке. Потом, попив холодного молока, от которого бежит по спине озноб, садишься к южному, самому светлому окну. Там, в уголке под лавкой, в посылочном ящике, лежат акварельные краски, стоят загрунтованные картонки. Ты ставишь картонку на сколоченную тобой кособокую подставку и долго смешиваешь на самодельной же палитре из фанерки яркие краски, никак не осмеливаясь положить первый мазок... С каждой секундой все более — убыстряясь и становясь отчетливее, — в тебе звучит та чудная, непонятная, волшебная музыка, что пришла к тебе еще в поле, и ты ждешь, когда она заполнит тебя всего, чтоб уже не было больше места ни для чего другого. И когда дождешься этого мига — кладешь первую линию на белый квадрат...

Ты рисуешь лиловые снега и мрачные, вытянутые тучи, и дорогу, исчезающую в них, и розовеющие прогалинки; ты рисуешь это сочными акварельными красками, которые прислала тебе из города крестная; ты рисуешь — и выходит все похоже, с точными цветами, еле заметными для глаза переходами тонов. Но когда заканчиваешь, видишь вдруг, что все это не то... не то... Не хватает чего-то неуловимого, без названия, лишь ощущаемого каким-то неизвестным чувством, — того, что и заставило тебя взять кисть и краски; не играют, не поют снега, облака висят грязной ватой, застыв, и нет в них движения, и не звучит музыка, — а веет от пейзажа откровенной серой скукой.

О, как тяжело бросать картонку в печь! Она корежится на уснувших, подернутых серой золой углях, краски шипят и пузыряются, меняют цвета, а ты стоишь, смотришь на это — и так тяжело, так одиноко и обидно тебе в этот миг... Но подходит мать, гладит тебя по голове:

— Ничего, сынок, в другой раз...

Наутро все забывается. Ты опять идешь, и мир уже другой — он был другим каждый день, каждый час, он менялся ежеминут-

но, ежесекундно,— и это вновь завораживает, вновь покоряет, и опять ты спешишь и думаешь: вот уж нынче-то... вот уж нынче-то!.. И веришь, что получится, обязательно выйдет — краски запоют, родится музыка, которая пробудит ответные чувства у людей, и тогда...

И ты идешь, все убыстряя шаг и убыстряя, ты бежишь, ты хотел бы лететь,— и веришь, что стоит передать на картонку свои чувства, и ты достигнешь наконец счастья. Истинного полного счастья.

* * *

И вот ты стоишь у костра, колотишь нога об ногу, смотришь в огонь...

Ты давно уже не живешь в той низкой темной хате, где родился и вырос,— там была закопченная печь, лавки по углам, некрашенные занозистые полы, которые мать скоблила ножом, а во дворе, вечно заваленном навозом, щелястая уборная; у тебя теперь городская, большая, светлая, с отдельной мастерской квартира. И электричество в ней не отключают после одиннадцати, и всегда есть горячая вода, и ты носишь бархатную куртку и имеешь ухоженную бородку, и круглый год ходишь в туфлях, никаких сапог,— такое у вас не мог позволить себе даже директор школы. А занимаешься ты любимым делом, которому посвятил себя всего, ради которого перенес множество испытаний (и только бог знает, сколько еще предстоит), ради которого порвал с семьей, потому что маленький сын, тебе казалось, мешал, а жена была равнодушна к твоим занятиям,— и в котором у тебя последнее время сплошные удачи, много хвалят авторитеты и простая публика, ты добился наконец признания...

Но нет у тебя теплой стенки, к которой можно было бы прижаться, и нет рядом человека, который вытер бы твои слезы...

...А тогда ты верил, что все городские — люди из какого-то иного, светлого и счастливого, мира. И когда приезжал с матерью к крестной, и та начинала жаловаться на тесноту, на высокие базарные цены, на тоску и одиночество, на беспричинную злобу и недоброжелательность соседей, ты думал, что крестная говорит неискренне для того, чтобы мать ей не завидовала.

А ты ей завидовал... Еще бы! Отдельная квартира с балконом, туалетом и ванной. Да еще прямо напротив цирка!

Вы целый день ходили с матерью по магазинам, и ты все больше и больше убеждался, что городская жизнь — сплошной праздник; в магазинах играла музыка, красивые продавщицы в кружевных передниках говорили «пожалуйста», люди улыбались и были нарядно одеты.

К вечеру ты еле тащил ноги за матерью. Мать несла сумки — через плечо и в руках, — и у тебя в одной руке была авоська, в другой — пистолет. Ты стрелял из него по голубям, что, совсем не боясь людей, копались в переполненных урнах, по собакам, что шныряли в подворотнях с независимым видом. Пистоны громко, почти по-настоящему, хлопали, и приятно пахло жженой селитрой... Стрельнул и по дядьке, что стоял у окна с розовыми богатыми шторами, на втором этаже. Дядька был хмурый, он смотрел на тебя — и будто сквозь тебя, — и было в его взгляде что-то непонятно-тревожное, и такая тоска... Чего ему не хватает: гля, квартира какая — аж четыре окна в розовом! — костюм на дядьке с иголочки...

И ты стрельнул в него еще раз.

А вчера ты стоял у окна — тебе не работалось, — стоял и смотрел, как по заснеженной улице спешили прохожие, ссутулившись от сыплющегося за воротник снега, как легковушки, по-ко-

шачьи завывая движком, преодолевали заносы, как дворник, молодой парень, студент, уныло долбил на тротуаре грязный заплаканный лед... А снег сеялся и сеялся.

И заметил ты женщину в пуховом платке, в тяжелом, угловатом пальто, с сумками в руках и через плечо, и с ней мальчика. Они шли вниз, к автовокзалу. Куда же, в какую сторону поедут? Сколько времени придется ждать автобуса? Будет ли диспетчер откладывать рейс, боюсь, что дорога забита, или без канители pošлет маленький промерзший, заиндевелый, как савраска, юркий «пазик», в котором, трясаясь на ухабах и лязгая от этого зубами, станут они закусывать стылой осклизлой колбасой и пряниками?.. А выйдут среди чистого поля, и долго, до самой мутной наволочи, придется шагать им по замеченной дороге, вдоль утонувших в сугробах вешек... А дома их давно ждут. Хозяин, пропахший железом и соляжкой, бесперечь курит, две беленькие девочки, весь день то и дело подбегавшие к окнам, к голубым проталинкам, теперь присмирели, сонно хлопают глазами... Но вот в сениях слышится криканье, топанье, сопенье и, пьяные от долгой ходьбы, от мороза и от предвкушения тепла и отдыха, ввалятся в хату мать с сыном, со всеми своими узлами и сумками; хозяин смущенно встрепетается и начнет помогать раздеваться, девочки поднимут восторженный визг, из темной кухни выйдет бабушка и спросит:

— Ну, как город, унучек?

И мальчик важно ответит, раскинув руки:

— Во какой!

И допоздна, до самой глухой молочной стыни, будут в этом доме светиться окна, и мальчик с горящими глазами не переставая рассказывать на печи осовевшим сестрам о трамваях, об огромных домах и городских богатых магазинах, и грезить вслух о грядущем, когда вырастут они большие и уедут в эту сказку...

...Они шли по твоей улице вниз, к автовокзалу,— незнакомые тебе мать с сыном,— ты смотрел на них сквозь стекло, и в душе почему-то росло, ширилось чувство родства... Мальчик вдруг повернулся, вынул из кармана алюминиевый револьвер и,

прицелившись тебе прямо в глаза, выстрелил. Пыхнул дымок, вмиг растворившийся в струящемся, волокнистом, снежном воздухе, — и сквозь двойные рамы ты наяву ощутил хлопок пистона и услышал кислый запах сгоревшей селитры...

* * *

...Обычно раз в неделю, почему-то в начале ее, в понедельник или во вторник, ты идешь другой, более длинной дорогой, по старому шляху. Шлях пролегает через соседний хутор Осиновый. Там, на выезде, живет дед Илюха.

Все у деда Илюхи «не как у людей». Хата у него старая, расползшаяся, под слежалой соломой, зато времянка крыта резиновым шифером и с огромной, почти с самое времянку, голубятней (это причудливое строение издали напоминает маленький замок); омшаник и сарай рублены из дубовых плах.

О, как здорово, что все у деда Илюхи не как у людей! У него полон двор собак. Дед то и дело меняет их: на ружья (которых тоже много, разных калибров и систем), на колоды пчел (и пчелы разные: маленькие, серые, похожие на раскормленных мух — «русские»; рыжие — «карпатские»; ярко-красные, с длинными хоботками, злющие-презлющие — «кавказские»; и даже какие-то «бразильские», похожие на ос, с огромными жалами), на голубей (этих так много, что ни на хате, ни на времянке, ни на сараях снег не держится). Голуби! О, это самая сильная дедова страсть — за голубей он отдает все: и ружья, и пчел, и собак (кроме самой старой суки Куклы, родоначальницы). Голуби... Ах, голуби! Как здорово бросать вас в синюю бездну, да чтобы кобчик поблизости не было, да чтобы турманы — один к одному!.. И, задрав-заломив голову, следить, вытанцовывая на зыбкой, прогибающейся, покатой крыше времянки замысловатые фигуры, вслед за крутящейся в вышине птицей, — до ломоты в затылке, до головокружения и тошноты, когда вдруг поведет-поведет в сторону, и ты судорожно хватаешься за деда, танцующего рядом... «Турманы», «дутыши», «павлины», «воланы» — каких толь-

ко пород нет у деда Илюхи! Как хотелось тебе завести голубей, да отец запретил: от их помета быстро прогнивает кровельное железо...

Вот ты уже и подходишь к дедовой хате... Выскакивают пятнистые, рыжие гончие; кобели подбегают, разинув пасти, вывалив языки,— норовят лизнуть в лицо; сучки — опустив глаза, бочком, бочком, застенчиво виляя хвостами. Собаки приветственно лают, улыбаются... Позже всех подходит старая Кукла с карими, мудрыми, усталыми глазами, с вечно оттянутыми сосцами (она необыкновенная сука, ее знают даже в Воронеже,— она щенится по три раза в год!). Кукла смущенно лижет тебе руку, ты треплешь ее за вислое коричневое ухо, шутливо отпихиваешь молодых кобелей, путающихся в ногах, и отворяешь провисшую дверь в сенцы... Ты отворяешь провисшую дверь — и сразу окунаешься в старину. Пахнет промерзшим земляным полом, смазанным глиной, вощиной, что лежит стопками на сундуке, у запыленного, запутиненного окна, хрустким, пересохлым зверобоем с чердака, стылой заячьей шерстью и мыльной прогорклостью лисьего жира — от висящих по стенам, растянутых на рогульках шкурок. Тут же висят и два-три ружья — каких-нибудь старых, нелюбимых дедом (любимые дед хранит в хате),— от них густо несет сурчиным салом, дымным порохом. Еще в сенцах стоят ящики со всяким железным хламом, со всевозможными клещами, пробоями, напильниками и молотками, со старыми позеленелыми латунными гильзами — копать во всем этом для тебя наслаждение...

Тыходишь в хату. Она жарко натоплена — дед любит, чтоб как в бане,— из красного угла, с полочки, на тебя ласково глядят глазастые святые; бабка Ксюша возится возле печки, за занавеской, гремит рогачами — и веет оттуда разлитой благодатью разогретого, растопленного меда, хлебной кислинкой подошедшей опары, ласково-домашним дымком кизяка.

— О, унучек пришел! — всплескивает руками бабка Ксюша и кидается раздевать тебя. Она усаживает тебя за стол; за столом, прислонясь к теплему боку печи и поставив ноги в толстых пуховых носках на подставку, сидит дед Илюха, курит пахучий, с донником и вишневым листом, сладковатый табак,— дым сини-

ми лентами обтекает его желтые, прокуренные, к концу истончающиеся пальцы, тонкие, совсем не мужичьи. Ты садишься за стол — по спине, по плечам бегут мурашки, то мороз борется с теплом, и от этого приятно и щекотно,— а бабка мечет на стол олады, блюдо с глянцеви́то-черным моченым терном, ставит в кружке темно-рябиновый узвар из рябины, зверобоя и шиповника, горячий мед, терпко-горький от мелких кусочков желтой перги. Дед любит именно такой мед — с пергой, цветочной пылью, которой пчелы кормят свою детку,— и для себя оставляет только этот... У тебя текут слюнки, ты хватаешь пышно-ватный оладышек, макаешь его в шафранно-золотистый мед, запиваешь густым узваром, что «от сорока немочей»,— а дед есть не торопится, он все так же сидит, молча курит, щурится то ли от дыма, то ли от дум, и как всегда, неожиданно, спрашивает:

— А что, джуже перемело дорогу?

Или:

— А что, вторую ярушку занесло ай нет?

Ты мычишь в ответ, киваешь головой или мотаешь, дед опять молчит, курит, сигарка постреливает, дым обтекает его тонкие пальцы, и непонятно тебе, чего он молчит,— о чем можно столько думать?.. Потом встает вдруг, идет, припадая на ноги,— значит, ходил с утра на охоту,— он идет на кухню и выносит оттуда, держа за уши, огромного, лобастого, табачно-серо-белого русака с желтыми кривыми зубами, с проволочными усами, забрызганного по боку застывшей кровью, как рябиновым киселем.

— А видел, чего я нонче добыл?..

Ты кидаешься глядеть, щупать зайца, а дед уже показывает серенькую куропатку со сниклой головой и перламутровыми веками; ты хватаешь куропатку, а дед вынимает откуда-то мышеловку с крутящейся в ней слева направо мышью. Мышь останавливается, пытается просунуть свой черный носик сквозь сетку, дед щелкает по сетке прокуренным ребристым ногтем, и мышь начинает крутиться справа налево.

— Вишь, улей кто мне попортил? Неделю жила — кум королю... Нехай теперь... покрутится, пока кот наш сыт.

Однажды показал изгрызенное кольцо, согнутое из лозиновой палки.

— Ну и козы у меня! Не козы — прямо звери! Сплел вчера кошелку из лозины, понес в ней сена — они и сено слопали, и кошелку. Вишь, что осталось... Ну и козы!..

— Кормить надо лучше! — Это бабка Ксюша из-за занавески. — Не ровен час, и штаны с тебя сжуют. Сено-то — одно название... Говорила, надо было поставить Витьке Агенту бутылку, он, может, и разрешил бы ярушки обкосить, а то — и лошадь дал бы... Все ему неудобно.

— Им, козам-то, всего требуется понемногу... — дед будто и не замечает бабкиного ворчания.

— И кошелок из лозины?

— А что? И кошелок. В них, в кошелках-то, может, самые витамины... Ох, и козы у меня! До чего ж умны козы — сами знают, что для организма требуется.

Вообще-то дед не любит коз, называет их «сатанинским отродьем», — терпит из-за бабки Ксюши...

Пообедав, сидишь ты у печки рядом с дедом, на приступке, — в хате тихо, сумрачно, ходики с зелеными кошачьими глазами громко стучат, маятник — туда-сюда, туда-сюда, а глаза — сюда-туда, сюда-туда... Ты сидишь час, другой — скучно, Пашка Горюн не идет, и ты собираешься домой.

Но если приходит Пашка — тогда... О, тогда совсем другое дело! Тогда дед начинает суетиться, лицо его становится глуповатым, он много и невпопад говорит, переспрашивает непонятливо и то и дело смеется над собственной глупостью, — он рад Пашке. Зайчатина к тому времени доходит в печи, бабка Ксюша ставит на стол медное, кое-где позеленелое блюдо с дымящимся, темно-красным, почти коричневым мясом, появляется самогон, да Пашка принес с собой «Столичную». Ты, закинув школьную сумку обратно на печь, остаешься у деда до вечера.

О, какие это были вечера!.. Ты видишь себя сидящим в углу, под самыми образами; ты рвешь зубами жиливатый кусок зайчаткины, отдающей немного лопухом, немного молочаем, валерьяной, осиновой горькой корой — лесом, сеном, волей, — и слушаешь...

слушаешь... И уже пир горой, дым коромыслом, уже распили «Столичную», попробовали самогону,— и бабка Ксюша выпила, смешно при этом вытянув губы трубочкой,— уже пошли бывальщины, охотничьи случаи, присказки и прибаутки. Но еще НЕ ВРЕМЯ... Вот смолотили зайца, покушали тушеную с капустой куропатку — разговаривают все громче, все азартней, перебивая друг друга,— усы у Пашки встопорщились, на утином носу выступил бисер, у деда с губ не сходит какая-то грустно-пьяная, добрая, непонятная улыбка, и ты знаешь, что уже близко, уже вот-вот, и ждешь... и ждешь... и тебя чуть не трясет от нетерпения. Но еще НЕ ВРЕМЯ... Оба, и дед, и Пашка, охотники, оба пчеловоды и собачатники, оба философы, нелюдимы и молчаливики — и оба песельники.

И вот — произошло что-то в мире — наступило, пришло ВРЕМЯ. И даже ты знаешь — пора...

Первым начинает дед. Вытянувшись в струнку, подняв шершавый подбородок, развернув грудь,— тонко, высоко и пронзительно звонко:

Эх, д'как моло-одо-ого д'за-а-абира-али...

Бабка Ксюша с Пашкой, переплетаясь, свиваясь голосами, подхватывают:

Ох, д'от мла-адой жо-онки д'отры-ыва-али.

От мату-ушки-и, д'от де-эток...

И видишь ты малиновое зябкое утро — заря только-только отыграла, зыбкий туман ползет в низины,— а тебе надо уходить на солдатскую службу, на двадцать пять годов... Вот ты видишь, как прощаешься с родней, кланяешься матушке, ослепшей от слез, обнимаешь напоследок статную жену и деток (две белоголовые девочки так похожи на твоих сестер!); вот ты идешь по родимой сторонushке и прощаешься с речкой, что в куге и чакане, и с косогором, и с мельницей-ветрянкой, что за околицей, где росными синими вечерами держал милую за белы рученьки,— все это тебе уж не суждено увидеть, как не суждено повториться былому... А будет у тебя начальником злой собака-унтер, погонят тебя, сердечного, под турку, и в неравном бою, в штыковом, от-

невом, на перевале горном, на горе на Шипке, попадет тебе бусурман стальным жалом под самое под сердце...

Ох, д'за бра-атьев, д'за сла-авя-ан
Лежи-ишь д'на го-оре-э...

Пашка, склонившись и полуотвернувшись, закрыл щеки, бабка Ксюша пьяно льнет к деду, мочит слезами его плечо, а дед все тянет, все тянет ногу, — в горле у него словно ручеек звенит камушками, — застыл с напряженной выгнутой шеей, со строгим лицом — и так ты любишь их всех в эту минуту, так любишь...

...Обычно смущенно молчат они после песни, прячут глаза друг от друга, и лишь однажды Пашка сказал, кривя рот:

— Да, дядь Илюх, хорошо все-таки, что повезло нам родиться. Только вот все ж не по-честному мир устроен... Ну хоть бы мы не знали... не понимали... А то ведь так и стучит в голове, так и стучит: все одно трава вырастет!

И на целую неделю от этих слов померк для тебя белый свет, пропала радость от ощущения жизни, и все стало казаться бессмысленным и жестоким. Ты даже школу забросил: зачем? — все одно ж... И впервые осознал — кожей почувствовал, — насколько зыбко наше бытие, до чего непрочен наш мир, и удивился, почему многие люди живут так, будто ничего этого не знают, так, словно в их существовании есть смысл и длиться оно будет вечно?.. И поразило то, что, оказывается, и взрослые боятся смерти, и взрослые, даже дед Илюха, не знают, для чего они живут.

Ах, Пашка, Пашка, зачем ты тревожил, зачем бередил?..

* * *

Сегодня весь день, как и вчера, сыпал снег... Сыпал он и вечером. Тебе весь день не работалось. И почти весь день ты простоял у окна...

А снег сеялся и сеялся. Мелкий, он, поблескивая в мертвенном, зеленоватом свете фонарей, то шуршал о стекло, то нежно

терся. Ты смотрел, слушал — в тебе что-то происходило, шла какая-то работа, а какая — ты не мог понять, и это тяготило: ты стоял у окна, курил, дым от папиросы ленточками обвивал твои истончающиеся к концу, как у деда Илюхи, суставчатые пальцы... Вечер был бесконечен, и в то же время хотелось, чтоб он не кончался, и чудилось, звучала в нем — нежно, тонко — еле слышимая мелодия, то ли всхлипывала где-то флейта, то ли плакала скрипка, и было больно, томительно и сладко...

Весь день тебе хотелось... так хотелось рядом родного человека. И весь день ты кого-то ждал... Ждал, хотя знал наверняка, что никто не придет.

Жена с сыном оставили тебя. Раньше ты почти не думал об этом, лишь когда приходилось получать деньги и отчислять алименты, вспоминал, что где-то у тебя живет сын... А теперь все чаще и чаще является желание увидеть его, поговорить с ним, а еще лучше — забрать к себе и жить с ним. И горько оттого, что это невозможно: у твоего сына есть отчим, которого он зовет «папой», и маленький братишка, — не пойдет он от них.

Тебе хотелось увидеть Леху, друга юности, с которым вы «начинали». Но ты знал, что и это невозможно. Леха давно уже не ходит к тебе и избегает встреч с тобой. И если ты сам придешь к нему, он не откроет. Он пускает только одну медсестру, которая делает ему инъекции морфия. Леха умирает. Как всякий гордый человек, он не терпит к себе жалости. Конечно, это жестоко, но таков Леха... Всю жизнь его считали неудачником, а он всю жизнь не хотел с этим мириться. Оттого и страдал. Оттого и пил. Оттого и ходит к нему медсестра...

Весь день, до вечера, ты стоял у окна, курил и чего-то ждал. Тебе так хотелось рядом родного человека...



...Если в школе меняли расписание, то последний урок второй смены кончался уже ночью.

Что-то таинственно-жуткое есть в ночной зимней дороге. Когда

все застыло и чуть не звенит, облитое пепельно-серебристым светом; тусклая, мутная луна завязла в тенетах студенистого морозного пара,— скользит, скользит в нем, норовя выпутаться и погулять — покрасоваться на воле. Лес — темный, оцепенелый, и чудится в нем неслышная, невидная и оттого еще более таинственная жизнь; ты ощущаешь эту жизнь спиной, затылком, самой кожей... Чу! В балке совсем явственно забрехала лиса, и тебя будто током прошибает от макушки до пяток. Может, и не лиса вовсе это лает, а Муся?..

Еще до войны, рассказывают, возвращался как-то Пашка Горюн с охоты. Тихо было, ясно, луна светила: собаки Пашкины вперед убежали... И вдруг запуржило, завьюжило, понесло, закрутило. Ходил Пашка, ходил, видит — заплутал! Позвал собак он. В ответ — лай, но визгливый и тонкий, ни одна из его собак так не лает. Пошел, однако, он на голос. Видит — хата полузаметенная, окно горит, у двери лохматая черная собачонка заливается. И отворяется тут дверь, и выходит девка; прогнала собаку, пристыдила:

— Что же ты брешь, Муся?! Это же Паша пришел,— и приглашает его войти.

Удивился Пашка, но вида не кажет, входит в хату. Теплом там, блинами пахнет, стол ломится от закусок; девка рядом вьется, молодая, красивая, ядреная...

— Садись, Пашенька,— приглашает,— я давно тебя поджидаю...

Только через трое суток пришел он домой; его уже искать перестали, собаки от воя охрипли... Всю округу исходил потом Пашка — как сквозь землю провалилась хата!

После войны ноябрьской темной ночью шел он от деда Илюхи. Глядь — лохматая собачонка в ногах путается, хватает за штанину, зовет с собой.

— Муся! — окликнул ее Пашка и пошел за ней. Идет, идет — места начались незнакомые, глухие... А вот и хата, и окно светится. Заробел он входить, приник к потному стеклу. Смотрит — знакомо все в хате, хозяйка только — клещеногая, горбатая старуха. Лепит из бурой тины пирожки, мечет их в жаркую печь.

А начинка у пирожков — рубленые крысы, лягушки да шевелящиеся черви. Рядом девчушка крутится, уродина в стружьях, с зелеными волосами, — и еще клыки у нее, и глаза красные, кроличьи! Как прислонился Пашка к стеклу, и оторваться не в силах — дух перехватило, а ноги будто корни пустили...

А старая вынимает пирожок из печи, сует девчонке.

— На, вынеси тятё, вон он в окошко заглядывает...

Потому и задумчив, говорят, Пашка; потому и живет бобылем; потому и — «Горюн».

Чу! Опять лай... Ты знаешь, что это не Муся, это обыкновенный рыжий лисовин стоит и, задрав острую мордочку, брешет на луну, но сердце, огромное, заполнившее тебя всего, стучит в руках, в ногах, и нет сил остановиться или побежать — ты шагаешь и шагаешь, как заведенный, не поворачивая головы, и бормочешь занемевшими губами, словно испорченный патефон: «Во имя отца и сына... во имя отца и сына...» Больше ты не знаешь никаких молитв, которые, как говорит бабка Оля, помогают от волков, от сглазу, от наговору и нечистой силы всех мастей, — которые дают силу и храбрость.

Зато какое охватывало счастье — почти до восторга, — когда из-за бугра выстреливал вдруг, всегда неожиданно-острый, пучок света. Ты всякий раз ждал его и пытался поймать тот момент, когда появлялся свет, но так никогда и не поймал: света не было, не было, и вдруг — он уже был!.. То горел фонарь на макушке водонапорной башни, а башня стояла на холме, а холм, вернее, курган — самое высокое место в хуторе. И сразу, как только появлялся огонек, и тьма вокруг тебя сгущалась до почти осязаемой густоты, — ночные твои страхи рвано расползались, прячась по дальним, самым укромным местам. И, как по коридору, ты шел на манящий, трепетный свет, и уже ничего не боялся; в темноте бегало, шуршало, дышало тяжело — а ты шел на свет, и не боялся...

Ты шел, ничего не боясь, и тебе бывало всякий раз немного стыдно за свои недавние страхи.

Снег перестал идти неожиданно — и сразу заблестели колючие звезды, а поколотые синеватые льдинки туч, подобно леденцам, иссосались ветром. До полуночи было еще далеко... еще было время... еще можно было успеть. Ты вспомнил, что на ипподроме, где, конечно же, есть солома, у тебя знакомый сторож... И ты решился.

Ты добыл на ипподроме соломы и развел этот костер. На студеном, пронизывающем ветру, внутри городского двора, на самом дне стеклянно-бетонного колодца.

Да, жаль Лехи нет рядом. Он, конечно же, понял бы тебя, помог и поддержал... Эх, Леха, Леха!..

...Когда же поднималась вьюга, когда еще днем заволакивало небо, мешало облака с сугробами, ты шел ночевать к бабке Тане. Бабка Таня жила неподалеку от школы, на соседней улице, кутку по-нашему, — на Расхваталовке.

Бабка Таня — материна тетка, деду Илюхе свояченица — была хромой с детства: каталась с горы на санках и сломала ногу, нога срослась криво. Жила она в маленькой, крытой резиновым шифером хате, срубленной уже на твоей памяти отцом из старых шпал, купленных на случаю. Полов и электричества у бабки не было. Полы она считала роскошью, а электричества боялась, потому что раз уже горела от короткого замыкания, и не хотела больше испытывать судьбу.

На пятнадцатый день твоей жизни, когда ты сучил в люльке ногами, в хату вошла, не здороваясь по своему обыкновению ни с кем, даже с дедом Максимом, усатая и хромая старуха; она простучала костылем по некрашеному, занозистому полу к твоей люльке, отогнала от тебя мух и сказала, улыбаясь:

— Ишь, мордастый какой! Тьфу-тьфу-тьфу! И лысый!.. И руки в кулачки жмет!.. Начальником будет. Точно. Назвать его Иван Иванчем.

— Теть, да как-то... Иван Иванчем-то... — попыталась возразить мать.

— Я говорю, начальником будет! Начальники все — Иван Иванчи.

— Не, тетя Таня, — встрял не ко времени отец, — Иван Иванычем сейчас не модно... Мы его уже называли. Валеркой, как бригадирова сына.

— Дурак твой бригадир! И ты — дурак! — грохнул об пол костыль. — Иваном не модно! Не модно! И что за имя собачье выдумали — Валера-холера! — ковыляя к порогу, передразнивала она отца, кривя усатый рот.

И два года после этого не появлялась.

— И глядеть не хочу. Тоже — придумали имя... Да главное — как у бригадирова сына!

Тебе рассказывали об этом и отец, и мать, и дед Максим — событие это прочно вошло в семейную хронику, — и со временем ты настолько сжился с этой историей, что стало казаться, будто и сам кое-что помнишь.

Кстати, бабка очень редко называла тебя по имени, а когда все-таки называла — как-то ее всю аж передергивало...

Ты подходишь к заметенной по самым окнам хате, стучишь в низенькую дверь, бабка раза три спрашивает «кто там» и лишь потом отпирает, долго возясь в темноте с засовами. Она, как всегда, ворчит на погоду, на директора, который «бесперечь смены меняет; чего мучает дитенка — ходил бы он днем и ходил...» — и под монотонное бормотание собирает тебе поесть. Пахнет у нее, как в гараже: от военного мажарского керогаза и от лампы — керосином, от дореволюционного еще «Зингера» — машинным маслом, от стен — креозотом, от самой бабки — как от механика. Ты ешь, она ходит по хате взад-вперед, ворчит — теперь уже не разобрать чего. В толстой, на вате, жилетке, в платке, завязанном на лбу, похожа она на сову, а тень на стене выходит уже точь-в-точь. Она ворчит, а ты ешь и не обращаешь внимания. Тебя бабка любит, даже иногда балует леденцами. А вообще-то она строгая и суровая. Про нее настоящие легенды ходят.

В тридцать первом, например, когда деда Илюху раскулачили (у него было сорок колодок пчелы) и выслали с семьей на Северный Урал, бабка ездила «выстарывать» его в Москву. Оставила у верного человека своего «Зингера» и молчком поехала. Была у самого Калинина. Вернулась месяца через три, а еще через полгода вернулся и дед Илюха. Пасеку, правда, ему не отдали... Это она в тридцать восьмом показала председателю сельсовета зад, когда тот пригрозил отобрать у нее «Зингера», единственное ее сокровище, в счет налога,— показала да еще похлопала по белой ягодице ладонью... И чуть было не угодила под «политическую» статью.

Поужинав, ты залезаешь на печь, а бабка садится шить — она всегда чего-нибудь шьет, она всю жизнь шьет,— строчит и расспрашивает:

— Как там мать?

Потом:

— Как там Максим Терентьевич?

Потом:

— Как там остальные? — под «остальными» она имеет в виду отца, бабушку Олю и твоих сестер.

И уже потом:

— Ну, а собачатник там как? — это про деда Илюху. Его она не любит.

— Рази это мужик?! Так, одно название... Ни воровать заставить, ни охранять поставить. Всю жизнь с собаками да с голубями. Соберет друзей и залетится с ними на охоту; зайцов настреляют, сидят иде-нибудь, водчонку попивают, песни играют, а Грапка-покойница сено на себе таскает. Заездил, стервец, бабу в отделку — она и померла. Теперь-то у него — лошады! — бабка вздыхает, бормочет что-то неразборчивое, похоже, ругается.— А гонору! Гонору у него! Ну прям весь из гонору сшитый. На службе когда был, в хоре служил. Звали, оставляли, когда срок вышел, а он: «Хочу вольно песни играть». Так всю жизнь в драных штанах и проиграл... Зато вольно, родимец его возьми!

Потрескивает фитиль в лампе, машинка стрекочет, стрекочет, бабка ворчит под стрекот, в трубе завывает, в окна стучит снежной дробью, а ты лежишь на печи, прижавшись к горячей грубке, и кажется, что никогда не кончится эта ночь и пурга, что само время оцепенело, загустев и остановившись, и вы с бабкой одни во всей вселенной, среди холода и ветра, и от таких мыслей хочется еще глубже зарыться в гуни, наваленные на печи, еще плотнее прижаться к горячим кирпичам... Засыпая, ты просишь бабку рассказать о старине, о колдунах и ведьмах, о волках. Бабка отнекивается, говорит, что все это брехня и нечего ею забивать голову; потом все-таки уступает твоим просьбам и начинает рассказывать о том, что было на самом деле. О том, как дед Илюха, «собачатник-то твой пошел к колдунье — она на хуторе жила, на Ключах, старая, вся аж позеленелая, голова с пивной котел, а носик ма-ахонький как пуговка. За советом пошел он; не жили дети у них с Грапкой, трое первых померло — две девки и мальчик. Грапка в четвертый понесла... Колдунья послушала его и говорит: «Будет у вас еще трое; называй детей старыми именами, а в кумовья бери первых, кого встретишь,— будут жить дети». И точно — две девки и мальчик родились, и назвали их вдругорядь, и выжили все...»

Бабка вынимает шпульку, наматывает на нее нитки, намотав, перекусывает (оказывается, зубы есть еще), а у тебя волосы шевелятся на голове: неужто все правда?.. И будто откуда-то из колодца доносится бабкин голос:

— А крестный у твоей матери — цыган. Она родилась, а цыгане как раз ехали... Так она его ни разу и не видала... А ведь, должно, уже поздно,— зевает бабка и крестит рот.

— Не поздно, баб, не поздно...

Поворчав, она заводит рассказ о том, как «еще до переворота кондыляла в Суцеры Дуся-блаженная; об эту пору шла, посла рожества. А за ней бирюки уружились. Она видит такое дело, села под ракитов кусточек, накрылась шлычкой и творит молитву. А волки окружили ее, язычки повывалили, сидят, смотрят, слушают молитву-то... Посидели, послушали, поднялись и давай вокруг Дуси бегать; бегают да воют, бегают да воют. А она

сидит да читает. Бегали-бегали бирюки, потом остановились, обмочили ее по очереди и ушли. А Дуся к свахе приволоклась — одежда гремит-ит».

Такой и осталась в памяти бабка Таня — тьма, запах гаража, вой ветра в трубе, тень на стене, похожая на сову, и этот недослужанный тобой рассказ про блаженную Дусю.

Да, бабка Таня, бабка Таня!.. Давно уже нет ее на свете, давно уже не играет своих песен дед Илюха. Успокоились они под железными, склепанными твоим отцом из полуторадюймовых труб крестами; ТАМ, наверное, и помирились, все ж таки родня, а впрочем...



Ты смотришь в костер — и видишь лето, видишь Пашку Горюна, в буйной сивой бороде, совсем как у врубелевского Пана, смиренную пасеку в июньском, трепетном по-юношески лесу, себя за мольбертом на сочной траве... Ты в четвертый раз пытаешься писать Пашку, и в четвертый раз не выходит у тебя. Видишь его янтарные, добрые, глубокие глаза, когда роняет он, заглянув тебе через плечо:

— Не, опять не я... Не похож.

Видишь — по очереди — все четыре неудачных портрета Пашки (все они «неживыми» были и все «под нож» пошли), и в огне является тебе пятый, еще не написанный, в совершенно новом, необычном, до безумия простом решении, в другой манере — и сразу все становится на место в твоем сознании, и открывается то, что неясно присутствовало, что ты чувствовал, но не мог выразить, и разрозненные звуки вдруг выстраиваются в гармонию. Тебе радостно от этого открытия, но и немножко грустно, ибо приходит и понимание, что написать Пашку т о г д а — при всем твоём желании — ты не смог бы. Вот Леха, пожалуй, написал бы... Лишь сейчас ты понимаешь это, понимаешь, что за все надо платить, и за прозренья тоже, и понимаешь, почему Леха относился к тебе снисходительно, что очень задевало тебя.

Теперь ты напишешь Пашку; теперь ты напишешь и деда Илюху, который у тебя тоже не получался, и бабу Танию, и самого Леху — по памяти напишешь, с закрытыми глазами...

* * *

...В ночь под старый новый год, в самую холодную ночь, тринадцатого января, «большие ребята» привозят на выгон целые сани ломкой соломы, пахнувшей далеким летом, пыльным августом, и поджигают ее. И тьма сразу делается гуще, голубее, и, какётся, из нее, из лохматой, смотрят на тебя чьи-то запавшие темные очи,— и приходят в эту месячную, стеклянно-звонкую ночь на память слова Пашки... Вы жметесь друг к другу, нервно пересмеиваясь, вам и жутковато, и любопытно, вы верите и не верите, вы «жжете п у р и н у». Пурина — это, наверное, от «перуна»; язычеством и седой древностью веет от этого слова...

Солома полыхает жарко, багрово-синие языки возносятся в голубую высь рдящие искры, целые огненные пуки, и по-телячьи лижут ущербный месяц, что, зелено-желтый, печально взирает на облитый жидким светом мир, на яркое пятно вашего костра, на вас, замерзших и молчаливых, и видит, быть может, невидимых вам ваших предков, которые по ту сторону огня греют свои закоченевшие на морозе ноги... Когда солома прогорает, и остается от нее по-живому дышащий багровый холм, ежесекундно покрывающийся тонкими сизыми пленками пепла, что то и дело сдуваются ветром,— вы подпаливаете от него факелы и расходитесь по домам.

Твой факел трещит, постреливает от нечистой, с водой, солянки, а ты терпеливо и осторожно несешь его над собой,— и спиной слышишь, затылком видишь, как над темными сугробами скользят за тобой голубые тени твоих пращуров,— и опять в голову приходят слова Пашки, и ртутно перекатываются там: «Все одно... все одно трава вырастет...»

Нет, нет и нет, не прав Пашка! Не прав! Когда-нибудь — страшно подумать, — лет через семьдесят или сто, будет на свете жить человек, который погреем пятки и тебе. А как же иначе?..

* * *

Вот и догорела солома. И стоишь ты, просветленный, у потухающего костра, на дне темного колодца из девяти- и двенадцатиэтажных громадин, напичканных полированной мебелью, коврами и сытыми человеческими телами, — стоишь, совсем окоченев, над ямкой в снегу, где еле теплится умирающий огонь, и не чувствуешь стужи. А вокруг холодно взирают на тебя зеленые, равнодушные окна, и за ними спят люди, забыв, как а я ныне ночь, — и оттого тяжесть у тебя на душе.

А может, кто и не спит, может, кого и разбудил твой огонь — недаром же отражался в стеклах теплым зрачком живой костер...



СОДЕРЖАНИЕ

Шаг в бездну	3
Тесные врата	29
Одуванчик	43
Потому и плачу... ,	53
В ночь, когда греют покойникам пятки ,	67

Вячеслав Иванович ДЕГТЕВ

ТЕСНЫЕ ВРАТА

Ответственный за выпуск И. Жеглов

Редактор О. Русецкая

Художественный редактор Г. Комаров

Технический редактор Н. Александрова

Корректоры Н. Понкратова, Е. Самолетова

Сдано в набор 05.03.90. Подписано в печать 07.08.90. Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 47,2. Учетно-изд. л. 4,5. Тираж 70 000 экз. Цена 30 коп. Издат. № 2025. Заказ 0—150.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Суцеская ул., 21.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

Из новинок
«Библиотеки журнала ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»

ПУТЬ ГАЛАКТИКИ. Сб. фантастических рассказов. Составители П. Куцка и М. Пухов. Перевод с венгерского.

Этот сборник — первая на русском языке антология современной венгерской фантастики. Представляя книгу, известный писатель-фантаст Михаил Пухов пишет: «...Венгрия, пожалуй, отделена от прочих литератур наиболее высоким языковым барьером. Но советские любители НФ прекрасно знают, что именно здесь на протяжении почти двадцати лет выпускается первый в Восточной Европе специализированный журнал фантастики «Галактика» — долгое время он был единственным...

Все рассказы, вошедшие в предлагаемый сборник, были в разное время опубликованы в «Галактике». Внимательный читатель, несомненно, оценит и их тематическое разнообразие, и национальный колорит...»

Алексей Шишов. КРЫЛАМИ БЬЕТ БЕДА. Историческое повествование.

Книга посвящена истории Российского государства в период Смутного времени в начале XVII века. На основе обширного документального материала автор рассказывает о двух претендентах на московский престол — Лжедмитрии I (Григории Отрепьеве) и Лжедмитрии II («тушинском воре»), которые явились ставленниками враждебных независимой России иноземных сил. Приводятся биографические данные о самозванцах, показана вооруженная борьба того времени внутри государства.

ЭЙФОРИЯ РАСПАДА. Художественно-публицистические очерки.

Исколотое всевозможными сенсациями и обличениями сознание современного человека, кажется, уже перестало откликаться на симптомы вырождения нации, составляющие фон сегодняшней жизни. После столь же шумной, сколь и бесславной попытки пойти «против пьянства всем миром» и сделать «трезвость нормой жизни» тема эта как-то угасла, забылась.

Схлынула и первая пенная волна интереса к «сопредельным» явлениям — наркомании, проституции. Общественное мнение поуспокоилось на этот счет, притерпелось — с одной стороны, оно вроде даже и приятно, что хоть это у нас, как у всех; с другой — ничего уж тут не попишешь, плетью обуха не перешибешь, так не махнуть ли рукой на «неизлечимые» болезни?

Авторы сборника «Эйфория распада», составленного из произведений разных стилей и жанров — от эпиграмм и рассказов до публицистических и научно-популярных статей, — стремятся не ограничиться констатацией тревожных явлений, но отыскать пути «восстановления погибшего человека».

30 коп.

